

# Гранд

**Автор:**

Януш Вишневский

Гранд

Януш Леон Вишневский

«Гранд» – один из лучших романов Януша Вишневского, мастера тонкой, чувственной прозы. Писатель водит нас по номерам исторического отеля в Сопоте, в котором в разное время жили Гитлер, де Голль, Марлен Дитрих, Шакира, Путин, и посвящает в секреты его современных постояльцев. Здесь за каждой дверью скрывается одиночество, но отель «Гранд» всем даст шанс изменить свою судьбу. Кто сумеет распорядиться им верно?

Януш Леон Вишневский

Гранд

Внешне отель должен представлять собой нечто вроде триптиха. Левое крыло необходимо внутри обить войлоком, чтобы там можно было разместить умалишенных. Правое крыло предназначено для преступников. Вместо газона перед входом в отель нужно сразу спроектировать кладбище для самоубийц. На фронтоне отеля следует поместить слова Данте: *Lasciate ogni speranza* – «Оставь надежду всяк сюда входящий».

Гданьская газета, апрель, 1922 год

Janusz Leon Wisniewski

Grand

Copyright © Grand, 2014, by Janusz Leon Wisniewski

All Rights Reserved

Photograph © Ilona Weistand, Frankfurt am Main

© Тогобецкая М., перевод, 2014

© ООО «Издательство АСТ», издание на русском языке, 2014

-

Она сунула пальцы в мокрый песок и стиснула кулаки. Глаза не открывала. Вслушивалась. Ощутила, как холодные капли воды падают ей на голени. А на бедра не падают. «А ведь должны бы падать и на бедра, – думала она, – но нет!»

Они уже открывают сейчас эти свои серебристые зонтики, вот-вот начнут фотографировать. Боже! Черт! Мама! Она зажмурилась изо всех сил и прижалась лицом к песку, чтобы укрыться от вспышек.

– Да вы, барышня, не бойтесь, – услышала она хриплый голос, – все под контролем, я и о ботиночках ваших позаботился. И мишку плюшевого вашего нашел. Он, конечно, мокрый насквозь, бедолага, но на солнышке-то высохнет, сто процентов.

Она медленно повернула голову и чуть приоткрыла один глаз. Разваливающийся ботинок из потрескавшейся кожи, рваный в нескольких местах, шнурки развязаны. Серая от грязи повязка с темными пятнами засохшей крови, перехваченная сверху черным ремешком. Съехавшая вниз. И поэтому открывающая гноящуюся рану. Обрезанная по колению штанина – сами штаны из потертого золотистого вельвета. Небрежно свисающий кончик потрепанной веревки, заменяющей ремень. Выцветшая, когда-то, возможно, темно-синяя

дырявая майка. Синтетическая неоново-желтая блестящая жилетка. Расплывшаяся, размазанная от старости татуировка на предплечье – как будто огромный синяк. Огромные глаза. Такие огромные, что кажется – собственные глазницы им малы. Улыбка как у счастливой жабы. Между губами торчат слишком большие зубы. К нижней губе приклеена сигарета. Изборожденное морщинами лицо – такое бывает у тех, кто много думает и много тревожится. Длинные, растрепанные, нечесанные волосы – седые, свернувшиеся в мокрые косички на концах. Кое-где спадающие на выпученные лягушачьи глаза.

– Я тут около вас, барышня, встал, потому что платьишко-то у вас намокнуть могло, да и воспаление легких схлопотали бы. Запросто.

Он держал над ней раскрытый зонтик. Выгоревший, в красно-оранжевую полоску. Такой, какие бывают на пляже.

– До девяти часов зонтики-то бесплатные. А в воскресенье – так и до двенадцати. А вас, барышня, кто-то, видать, обидел? Как же можно так – одну, без присмотра, у моря на песке-то оставить! Тут же вокруг негодяи всякие так и шныряют, их этот отель притягивает как магнитом – летят словно мухи на мед.

– Какой отель? – спросила она, протягивая руку в сторону его ботинка.

– А тот, что за пляжем. Отель как отель. Ну, только что новый, отремонтированный. Но когда-то был тут другой, старый. Старше меня даже, поди. Но я его и сейчас люблю. Столько тут всего было, о! Я им поливаю платаны, иногда розы подстригаю. А то ведь занемогут. Моя жена завсегда эти платаны любила. Говорила, что они красивые. Как Юлечка наша научилась ходить – так она мне сказала с ней по воскресеньям на такси ездить к этим платанам. Чтобы она, значит, свежим воздухом дышала и йодом насыщалась. Вот я их и поливаю. Потому что они красивые. Даже зимой. Даже когда они такие голые, как скелеты стоят. Но платаны, они с душой.

\* \* \*

– Вам, барышня, прикурить? – неожиданно спросил он. – Хотя у меня только спички. Но руки-то у меня чистые... – добавил он.

Она села. Стряхнула пальцами песчинки с лица и шеи. Отряхнула платье и сумку, на которой лежала. Потянулась к наполовину пустой бутылке вина, стоящей на песке, приложилась к горлышку. Потом вытерла тыльной стороной ладони рот и подняла руку с бутылкой кверху. На коленях подползла к ногам незнакомца. Старательно завязала шнурки, болтающиеся на обоих ботинках. Вытащила из сумки несколько влажных салфеток для снятия макияжа и одну из них побрызгала своими духами.

– Я прямою вам рану, можно? – спросила она.

Очень аккуратно и деликатно протерла кожу, покрытую желтым гноем, на его ноге. Медленно развязала черный ремешок, осторожно приподняла повязку, подтянула ее и снова перевязала ремешком.

– Вы сдержанный и скромный человек, правда? – спросила она, поднимая голову.

Она заметила, что он прикрыл веками свои выпученные глаза, а кончиками пальцев она чувствовала, как он весь дрожит.

– Слишком туго? Вам больно? Или, может быть, духи щиплют? – спросила она.

Он не отвечал. Поднеся бутылку ко рту, с жадностью сделал несколько глотков. Она прижалась щекой к его ноге.

– А как вы думаете... тот, кто сдержанный и скромный – он лучше других? Ну или хотя бы добрый? Как вы думаете?

Она вытащила из сумки сигареты, прикурила сразу две, подняла руку с одной сигаретой вверх.

– Я, знаете ли, – говорила она, затягиваясь сигаретой, – кое-кого теряю. Того, кто считает, что он лучше других только потому, что живет в скромности и сдержанности. Потому что ничего миру о себе не рассказывает. И вот этим он меня вначале и покорила. А потом оказалось, что он не говорит ничего потому, что говорить-то и нечего. Потому что он ничего не достиг. По его мнению. Но меня-то это несколько не смущает. И вдобавок он ошибается, понимаете, он же ошибается! Потому что мне совершенно неинтересны эти его «достижения»,

которые можно предъявить этому долбаному чертову миру. Потому что он и есть мой мир – и все эти остальные, они не в счет. И в моем мире его достижения самые что ни на есть значительные, значительнее не бывает! Только вот он этого не понимает... Можно при вас иногда чертыхаться? Потому что при нем вот – нельзя, а иногда ведь без этого никак, правда? Он думает, что я сквернословлю потому, что хочу быть похожей на тех, кто сквернословит. Он почему-то считает, что эти, с известными фамилиями, ругаются без конца, а я хочу походить на них. Быть такой, как они... – А вы? Как вас зовут – спросила она, поднимая голову.

– Я? Меня зовут Мариан Стефан Убогий. Но все называют меня просто Убожка. Даже милиционеры – то есть полицейские, конечно, – ответил он, возвращая бутылку.

– О черт! Так я могу тогда при вас ругаться как сапожник – раз у вас не фамилия, а кличка! – рассмеялась она в голос.

– А это вино кислое какое-то. Это, наверно, мода сейчас такая – пить кислое вино. Вот как найдешь у отеля бутылочку – так либо пустая, либо кислятина. А ведь водка на пляже – она как лекарство. А ругаться... ругаться – оно несимпатично. Но если вам, барышня, уж так надо – так вы уж не стесняйтесь. Ну а фамилия – просто фамилия. Я ее получил от отца и деда, – добавил он тихонько.

– Ну вот. Пожалуйста, простите меня. Это я так – от злости на него. Моя бабушка по второму мужу носила фамилию Убожка. Так что это я так – от злости только. Простите меня, пожалуйста, – она стиснула его руку. – И знаете, не нужно больше держать этот зонтик. Уже и дождь ведь кончился. С вашей стороны это так любезно!

– Но ветер-то сегодня с востока такой, что аж с ног сбивает. Так что подержу еще пока, утром всегда самый сильный бриз, – ответил он.

– А который час? – спросила она.

– Думаю, что пять точно есть. Вон уже свет в кухне зажгли, а они свет включают как раз около пяти, чтобы к завтраку все было готово.

Она вынула из сумки телефон. Несколько сообщений. И ни одного от него. И звонить он не звонил.

Все сообщения из редакции. А ведь даже ее мать знает, что после полуночи не надо ей писать. Потому что она либо спит, либо пишет, либо занимается любовью. Но этих, в редакции, это совершенно не волнует. Ей поэтому приходится каждые полгода менять номер телефона, в соответствии с корпоративной этикой уведомляя об этом директора. И всякий раз она себя чувствует потом словно пес, спущенный с цепи, но с вшитым за ухом чипом.

- Вы правы. Уже четверть шестого. А может быть, вы даже знаете, какой сегодня день?

- Сегодня уже пятница...

Она встала. Медленно пошла к волнам, бесшумно разливающимся по берегу. Приподняла юбку, заправила ее в трусы и осторожно двинулась дальше. Когда вода коснулась бедер, чуть наклонилась и зачерпнула ее ладонью – полную пригоршню. Умыла лицо. Один раз. Потом второй. Потом еще. И еще. Наклонялась, зачерпывала ладонями утекающую сквозь пальцы воду и терла руками лицо. Снова и снова. Будто под гипнозом. Вдруг перестала, повернулась лицом к пляжу и откинула голову назад. Набегающая волна намочила ей волосы. Расчесывая их пальцами, она побрела на берег.

- О как. Я, значит, вас, барышня, от дождя защищаю – а она в холодную Балтику полезла. Да еще в одежде! – с укором сказал мужчина, когда она подошла к нему.

Она прикурила сигарету. Подняла сумку и обувь.

- Мне нужно было смыть с себя остатки прошлой ночи. А Балтика, кстати, не такая уж холодная, – улыбнулась она и наклонилась, стряхивая воду с волос, – ей хотелось, чтобы капли попали на его голые голени. Ох как хорошо! У нас тут еще немного кислятины осталось, – сказала она, протягивая руку к бутылке, которая торчала в песке между его стопами. – Допьем, пока совсем не рассвело.

Она отпила небольшой глоток, оставляя ему. Он положил зонтик на песок, поправил свою желтую безрукавку и взял бутылку из ее вытянутой руки.

- Вас, случайно, не Юлия зовут? – тихо спросил он.

- Нет. Но очень похоже. Вы со мной позавтракаете?

- Как это – позавтракаете? – спросил он смущенно.

- Ну, завтрак... яичница, сосиски, творог, булка с маслом, помидоры, апельсиновый сок и кофе. Позавтракаете? Завтракать в одиночестве нельзя.

Он смотрел на нее некоторое время, постукивая пальцами по губам. Потом опустил голову и тихо произнес:

- Я не могу пригласить вас, барышня, на завтрак. У меня нет на это денег. Прошу прощения...

Она сжала ладони, сдерживая слезы. Кажется, она его расстроила.

- А почему это обязательно мужчина должен приглашать женщину на завтрак? Вот почему? Потому что так принято?! Почему я не могу пригласить вас на завтрак? Давайте-ка вы не будете строить из себя старосветского пана Убогого, потому что на самом деле...

- Убожка, – перебил он ее.

- Вот да. Убожка, я знаю, – закончила она, кусая губу. – Где тут вход в этот отель? Вы меня проводите?

- С другой стороны. Тут довольно прилично идти. Нужно обойти пляж и выйти на улицу к подъезду. Или по лестнице за фонтанами, потому что в такую рань калитка на пляж может быть закрыта, а привратника не добудишься. Я уж его знаю.

- Это ведь «Гранд-отель», да? И мы сейчас находимся в Сопоте, да? – перебила она его.

- Так оно и есть, в самую точку, барышня. Это «Гранд», – ответил он.

Она выудила из сумки кожаную косметичку, открыла пудреницу.

- Вы можете сделать для меня кое-что еще, прежде чем мы туда пойдём? Не подержите мне зеркальце? - спросила она с улыбкой.

Он немедленно выплюнул сигарету и бросил зонтик на песок. Вытер влажные ладони о штаны, приблизился к ней и неуверенным, осторожным движением взял пальцами пудреницу. Она придвинулась к зеркальцу и, выдавив немного тоника на ватный диск, начала протирать лицо.

- Что ж вы мне не сказали, что я выгляжу как старая пьянчужка, которую выбросили на помойку после закрытия пивной? - улыбнулась она ему. - Если бы меня здесь в таком виде застали папарацци и сделали бы парочку фотографий - я потеряла бы остатки своей репутации. И уже навсегда. Никто бы не поверил мне, что я просто заснула на пляже потому, что заливала грусть вином. Вы вот, пан, вы часто грустите? - спросила она, подкрашивая губы.

- Грустите? А что вы, барышня, имеете в виду под «грустью»? - он задумался.

- Ну... это знаете... когда у тебя ком в горле и сердце сжимается, и болит за грудиной или в животе... и душа все время плачет, и самому все время плакать хочется или напиться, чтобы не плакать.

- Что до выпивки - так тут дело-то другое совсем. Я пить с горя переставал только на четыре месяца. Когда в реабилитационном центре был. Но потом вернулся снова на улицу - и снова запил. Но в последнее время вынужден себя контролировать, потому как нутро болит. Печень шалит. Знаете, барышня, когда за грудиной болит - это все-таки менее важно, чем когда печень болит. Потому что печень важнее грудины. Она даже, может, важнее, чем сердце. Потому что на сердце можно клапан какой поставить, а на печень клапан не поставишь. И приходится терпеть. А грустно... Грустно мне в сочельник бывает и на похоронах. Особенно если деток. Я хорошо держу зеркальце? Потому что вы, барышня, что-то пудриться-то вдруг перестали, - забеспокоился он.

- Хорошо. Просто отлично. Еще ни один мужчина не держал мне так зеркальце, - ответила она. - Потому что вообще-то никто никогда не держал его для меня. Может быть, потому, что я еще никогда ни одного мужчину об этом не просила, -



добавила она после паузы. – А перестала я пудриться, потому что задумалась. Вы, пан, правда, думаете, что печень важнее?

– Да совершенно точно! Сердце перестает болеть, когда увлечешься кем-нибудь другим или книжки начнешь читать. А вот печень... прошу прощения за бедность речи – с печенью постоянно херня. Печень слезам не верит и книжками ее не проведешь... Они уже вывеску погасили, значит – в кухне яйца готовы для завтрака, – воскликнул он. – Можно идти.

Ветер заметно ослабел, дождь тоже перестал. Они прошли по мокрому пляжу к деревянному, сложенному из серых досок помосту, который вел к калитке забора, окружающего отель. В нескольких окошках уже виден был свет, а на первом этаже и на террасе светились все прямоугольные окна. Войдя в калитку, они свернули влево и по асфальтовой тропинке обошли здание. К главному входу со стороны улицы, через зеленый сквер, усеянный тут и там цветами, вела вымощенная брусчаткой широкая аллея, которая перед фонтаном в виде эллипса из черного мрамора раздваивалась и превращалась в две узенькие дорожки, огибающие его с обеих сторон и идущие к каменной лестнице. Тротуар у стены граничил с небольшой стоянкой для автомобилей, подъезжающих к отелю. Аккуратно выложенная кирпичом, эта парковка вплотную подходила к стеклянным вращающимся дверям отеля, перед которыми стоял рослый мужчина в синей униформе с золотыми лампасами на штанах и нашивками на пиджаке.

Когда пара подошла к входу, он распахнул двери приветственным жестом, склонил голову в почтительном поклоне и придерживал дверь, пока женщина не переступила порог. А потом поспешно преградил путь ее спутнику.

– А ты, Убожка, чего тут? На завтрак к нам с шампанским пожаловал или что? Ты, может, заблудился, дорогу перепутал, а? Ты себя, может, джентльменом с зонтиком вообразил? Только, знаешь ли, дождя-то нынче и нет, по крайней мере здесь. Так что дуй отсюда, пока я добрый! – выкрикнул он.

Она услышала последнее предложение, запертая в клетке вращающейся двери, и ее окатила горячая волна ярости. Она остановилась и резко обернулась. Одна из стеклянных створок двери с силой ударила ее и отбросила назад, так что она с трудом удержала равновесие. Заблокированная ее телом, дверь со скрипом

остановилась. И сразу же после этого раздался отвратительный скрежещущий звук, стеклянная стена перед ней на мгновение исчезла. Она упала и, стоя на коленях на паркетном полу, в плену стеклянных заклинивших дверей, подняла голову и начала истерически кричать.

Консьерж в красной униформе, стоящий у ресепшен, сорвался с места и подбежал к ней, на ходу поправляя свой черный цилиндр.

– Пани, вы, пожалуйста, встаньте поскорее, повернитесь ко мне спиной и ладонями нажмите со всей силы на стекло, которое перед вами! – услышала она испуганный голос консьержа. – А я вас подтолкну! – крикнул он.

Она медленно поднялась с колен, потянулась за сумкой и повернула лицо к стеклу, за которым стоял испуганный консьерж. Прикурила сигарету, поправила волосы. Только в этот момент двери наконец начали двигаться. На пороге она чуть не столкнулась с откровенно забавляющимся швейцаром, который наблюдал за всем этим действием с ироничной усмешкой.

– Ваш коллега прекрасно умеет подталкивать. Это я должна признать. И целиком и полностью разделяю вашу радость и удивление по поводу этого его мастерства, – прошипела она, со злостью выпустив дым прямо в лицо швейцару. – Но я вообще-то здесь совсем по другому делу. Пан Убогий пригласил меня на завтрак в ваш прекрасный многозвездочный отель, пан офицер.

Она стояла перед ним на цыпочках, лицом к лицу, с сигаретой в зубах.

– И я обязательно поинтересуюсь – прямо сейчас! – почему я не могу с ним позавтракать? Поинтересуюсь у какого-нибудь старшего менеджера или, возможно, даже у самого директора, – она старалась говорить спокойным тоном и деликатно поглаживала пальчиками золотые нашивки на пиджаке швейцара. – Вы ведь пригласите пана Убогого войти сюда, правда? – спросила она кокетливо, поправляя ему узел черного галстука.

– Его зовут Убожка, – тихо возразил швейцар, – это же попрошайка и алкоголик!

– Нет, его зовут не Убожка, – повторила она за ним тихонько. – На самом деле совсем нет. Я знаю, черт побери! И не нужно мне напоминать! Его зовут Мариан Стефан Убогий. Запомни это, офицер! – крикнула она с бешенством.

Швейцар, словно рядовой, которого отчитал капрал, отшатнулся от нее и вытянулся в струнку.

– А теперь к делу. Мы с паном Убогим, которого вы знаете как Убожка, договорились позавтракать, – сказала она. – И если вы, пан, будете мешать нам войти в это здание, то я сейчас же звоню в полицию. Алкоголики и попрошайки, равно как и я, тоже имеют право завтракать. И я в случае чего пригоню сюда в это раннее утро целый комиссариат полицейских города Сопота, пан офицер, чтобы это наше право нам обеспечили. И вы прекрасно знаете, что я в состоянии это сделать. Уж можете не сомневаться и поверить мне на слово, – она достала из сумки свой телефон.

Швейцар еще пару секунд поколебался, потом кивнул, заглянул через дверь внутрь отеля и, увидев удаляющегося консьержа, поспешно вышел на улицу, поднес к губам металлический свисток и засвистел. И сразу вслед за тем громко крикнул:

– Убожка, иди сюда, ну!

Сначала к дверям отеля с визгом покрышек подъехало такси. Потом над балюстрадой лестницы, ведущей на стоянку, появился кончик желтого пляжного зонтика, а уже потом показалось и испуганное лицо бродяги с пляжа. Неуверенным шагом он подошел к швейцару и остановился перед ним, опустив голову.

– Ты что же это оставляешь пани одну, а? Без мужской защиты, а? Она же чуть не погибла трагически между этими дверями, а ты в это время на прогулочку отправился по городу, а? Приглашаешь даму на завтрак, а сам топ-топ – и в винный магазин, а?!

– Да я не приглашал барышню на завтрак, я только...

– Да я знаю, Убожка, я уж знаю, как дважды два. Это каждый в этой деревне знает, – перебил швейцар. – Ставь давай тут у стены свой зонтик и проводи даму к столу.

Убожка не двигался с места, переминаясь с ноги на ногу, очевидно, совершенно не понимая, что вообще тут происходит. Потеряв терпение, швейцар вырвал у него из рук зонтик, прислонил его к стене здания и направился к бородатому таксисту, с интересом наблюдающему за происходящим.

– А ты, Феликсяк, чего такой довольный с самого утра? Только не говори мне, что за ночь бензин подешевел! И быстро освобождай дорогу. Давай, давай, бегом. Уж давно должен был бы выучить, что, если клиент – я свищу дважды. Дождь дождем, а помыть бы твою развалюху не мешало, потому что стыд и срам на нее смотреть, тьфу, – сказал он.

Автомобиль, визжа покрышками, уехал.

Убожка неподвижно стоял на том же самом месте, не сводя ошалелого взгляда со швейцара, который, не обращая на него ни малейшего внимания, спокойно прохаживался вдоль балюстрады с другой стороны площадки.

Женщина подбежала к Убожке.

– Можно, я вас под руку возьму? – спросила она, сгибая его руку в локте. – И пойдете уже – я очень, очень голодная, – шепнула она ему на ухо и потянула за руку.

Они под руку вошли в ярко освещенный холл. Серый мрамор пола влажно поблескивал. Служащая отеля, которая ставила цветы в вазу, стоящую около светильника из матового стекла, подняла голову, передвинула очки на волосы, стянутые пучком на затылке, и смотрела на пару широко открытыми от изумления глазами. Рыжеволосая работница ресепшен пыталась скрыть улыбку. Консьерж спрятался за высоким прилавком с прессой и открытками, его странный цилиндр торчал поверх прилавка.

По мере того как они приближались к ресепшен, она чувствовала, как рука Убожки начинает все сильнее дрожать. В какой-то момент он даже выдернул свой локоть из ее ладони и остановился.

– Я знаю, что сегодня пятница. И знаю, что мы не бронировали номер. Но не посмотрите ли вы, пани, не найдется ли у вас свободной комнаты? – спросила она, вытаскивая из сумки свой паспорт. – Разумеется, с ванной. Если, конечно, у вас такие есть, – добавила она с иронией в голосе, глядя неотрывно в глаза администраторше.

– Для «нас»?! Что вы имеете в виду, пани? – с тревогой спросила та. На Убожку она подчеркнуто не смотрела, делая вид, что ищет что-то в компьютере.

– Я имею в виду номер на двоих, с двумя отдельными кроватями и желательно с ванной. А «нас», – она повернула голову для наглядности, – означает в данном случае пана Убожку и меня. С пятницы и до воскресенья. С завтраком.

– А есть у пана Убожки какой-нибудь официальный документ, удостоверение личности с адресом? – ехидно поинтересовалась администраторша. – Он должен его предъявить. Такие уж у нас порядки.

Гостья порылась в сумке, вытащила помятую пачку сигарет. Подошла к Убожке и спросила:

– Марианко, ты можешь к нам на секундочку присоединиться? Тут пани хотела бы кое-что уточнить.

Убожка с беспокойством огляделся по сторонам, потом сунул сигарету в рот и медленно направился к стойке ресепшен.

– В нашем отеле не курят, прошу прощения! No smoking! – завопила администраторша.

– Нас с Марианом очень радует, что вы владеете английским. Но у меня есть ощущение, что никто из нас пока не закурил. Ты как думаешь, Мариан? – она повернулась к Убожке. – А теперь дашь пани какое-нибудь удостоверение? Лучше всего если с адресом.

Администраторша нервно постукивала пальцами по стойке.

Убожка, заметно нервничая, шарил по карманам своих штанов – по всем по очереди. Через пару минут он положил на стойку какой-то мятый, обгоревший листок серой бумаги. Администраторша осторожно, двумя пальцами, с явной брезгливостью взяла листок и начала его разворачивать.

– Так это же свидетельство о смерти! – произнесла она после паузы. – Причем какой-то женщины...

– Да. Но там есть мой адрес. Другого адреса у меня нет. То есть теперь... у меня никакого вообще адреса нету, – ответил он, смутившись. – Да ведь вы меня знаете... – добавил он.

– Давайте поговорим об обстоятельствах вашего давнего знакомства с паном Убожкой попозже, а сейчас посмотрите, пожалуйста, в компьютере, какие комнаты свободны. Очень вас прошу, – сказала она, поворачиваясь к администратору.

Девушка села к компьютеру.

– У нас свободен сейчас только номер 223 на втором этаже. Двухместный. С ванной. Как вы и хотели, – сказала она через минуту.

– Гениально! Спасибо!

Убожка что-то пробурчал себе под нос.

– Марианко, ты что-то имеешь против второго этажа? – с улыбкой спросила его спутница.

– Не надо вам, барышня, в этот номер селиться, – прошептал он ей на ухо. – Только кучу денег потратите. К тому же там Гитлер жил...

– Мы берем этот номер. Именно этот. Вот, пожалуйста, мой паспорт и кредитка, – сказала она администраторше. – Вы закончите с формальностями, а мы с паном Убожкой тем временем пойдем завтракать, можно так сделать? – И, не ожидая ответа, она схватила Убожку за руку и потянула за собой к выходу.

Они остановились перед зданием, она дала ему прикурить, глубоко затянулась своей сигаретой.

– Мариан... я ведь могу тебя так называть, правда? Что ты такое болтаешь? Какой такой Гитлер? – спросила она возбужденно.

– Как какой? Адольф... – ответил Убожка.

– Гитлер жил в этом отеле? И именно в комнате 223?! – с недоверием в голосе уточнила она. – Когда, как, почему? И откуда ты это знаешь, Мариан?

Убожка почесал голову и начал кашлять. Потом замолк и только нервно грыз фильтр сигареты.

– Это дело личное и семейное, барышня. Такие дела хуже всего. Но это уже давно было, так что стыда и смущения-то для семьи уже поменьше, – ответил он тихо. – Мой дед ведь был примкнувшим к немцам. Таким фольксдойче. Как многие тогда здесь, в Вольном городе Гданьске. Тогда, перед тридцать девятым, да и в самом тридцать девятом, никого это не удивляло, хотя в Сопоте, где поляков проживало больше всего, его сильно презирали. Потому как дед мой мало что был немцем ненастоящим, так еще и полицаем – немецким к тому же. А в Вольном городе Гданьске были и польские полицаи.

Гитлер приехал в Сопот девятнадцатого сентября утром. Специальным поездом. В обстановке огромной, необыкновенной секретности. Дедушка Стефан как раз за три дня до этого получил новое ружье, больше прежнего, новый пистолет, получше, и новый, чистый, сшитый по мерке синий мундир, а еще фуражку и кожаные сапоги с подковками. Вот он должен был ходить по мостовой около «Гранда». И кричать что-то для всеобщего устрашения, но только по-немецки. Но дедушка Стефан по-швабски не слишком умел, поэтому его попросили, чтобы он только маршировал себе и молчал. Потому что молчать ведь можно без акцента. И он получил за это очень большую премию в марках, из которой выплатил все карточные долги своего непутевого сына Романа. Моего, святой памяти, батюшки.

Больше недели дед просидел взаперти вместе с другими в доме напротив. Вон там, за парком, по другой стороне улицы и чуть-чуть направо, – он ткнул

указательным пальцем в двухэтажный домик, почти совсем закрытый деревьями. – До войны он не был оштукатурен, обычный такой кирпичный городской домик. Еще задолго до того как Адольф прибыл в «Гранд», гестаповцы выселили оттуда всех жителей, чтобы свидетелей не было и чтобы для фольксдойче место освободить. Там проживали вместе аж сорок человек. Дед Стефан рассказывал, что им нельзя было пить водку и разговаривать с кем-либо. Все были чистые, как слеза или немецкий хрусталь. Гестапо проверило каждого на предмет психических заболеваний в первую очередь, а потом – на предмет лояльности. В это время около отеля крутилось порядка двухсот эсэсовцев. О том, что Стефан находится совсем рядышком, в Сопоте, а не где-нибудь у черта на рогах, на окраинах уже оккупированной Польши, не знала даже моя бабушка Матильда, жена Стефана. А мой дед стучал своими подковками на сапогах очень близко от того, кто на нашу Польшу меньше чем три недели до того напал и бомбы сбрасывал.

И вот однажды, когда Стефан так стальными своими бляшками по вымытой на коленях и руками, камешек за камешком, мостовой стучал, перед дверями «Казино-отель-Сопот» появился один гестаповец. Позвал его и, крича, будто на плацу, приказал сопроводить Fr?ulein Daranowski в заведение, где духа нет евреев и где торгуют гребешками, заколками и лентами для волос. В самый лучший магазин, и чтобы *zwar sofort*, то есть немедленно, и чтобы малейшее желание фройляйн исполнять. Стефан-то в магазинах не шибко разбирался, особенно в тех, где торговали расческами, а уж тем более лентами! Но он подумал и решил, что на той улице, которую мы сегодня знаем как Мончак, все это точно должно быть. Теперь я уж не помню, как дед Стефан называл наш Мончак, скорее всего как-то иначе, не так, как сейчас, потому что то ведь еще до войны было и точно до красных маков на Монте-Кассино. А вообще для деда Стефана, принципиального «немца», до конца жизни все улицы назывались «штрассе». Даже Вестерплатте для него была Вестерплатте штрассе. Впрочем, все это уже не имеет никакого значения, ибо было давным-давно.

Вы, барышня, меня еще одной сигареткой угостите? Потому как у меня горло от болтовни-то пересохло, – попросил он вдруг.

Она вытащила из пачки последнюю сигарету, прикурила, глубоко затянулась и вставила ему в рот.

– И что было дальше? Ну, рассказывай же...



– Ну а что могло быть? Дед Стефан послушно отправился в сторону Мончака, а фройляйн Дарановски – за ним. Потом, по крайней мере так он утверждал, она его под ручку этак крепко взяла – и шли они себе, как муж и жена за покупками в субботу. Но не дошли, потому что на углу нынешней Морской и всегдашней Хаффнера выскочил перед ними другой гестаповец и дамочку у него из рук вырвал. Из того что дед Стефан до самой смерти повторял, получалось, что эта Дарановски немедленно нужна была какому-то «Вольфу», по-нашему «волку». Разумеется, Стефан тогда не понимал, какие такие волки и о чем вообще речь идет, но фройляйн Дарановски оставила его одного посреди улицы и побежала с гестаповцем, вцепившись в него как волчица. На следующий день, когда Стефан снова маршировал себе на площади у «Гранда», он увидел, как из дверей отеля выходит несколько гестаповцев, потом Гитлер, «Дер Вольф», а с ними Дарановски – только с убранными в пучок волосами. И в этот момент он догадался, кого накануне под ручку по улице-то вел. И когда он это увидел и понял – то страшно перепугался. Потому что он ведь был всего лишь маленький, незначительный гданьский полицейчик, и на его долю выпала такая ответственность – идти плечом к плечу, совсем близко, с такой важной персоной под ручку. Вечером он снова стучал себе у «Гранда» сапогами вместо коллеги вроде как по доброй воле, а главным образом, чтобы иметь возможность встретиться с горничной Стасей, дочкой соседей с первого этажа того дома, где он жил. Стасю эту дед Стефан вообще-то сильно не любил, потому что она была на выданье и мертвой хваткой вцеплялась в любого, кто носил мундир, даже в его собственного сына Романа, а ведь тот был всего-навсего почтальоном. И все-таки он, подстегиваемый любопытством, свою неприязнь преодолел и со Стасей заговорил.

Прежде всего он ее предупредил, что если она хотя бы пикнет о том, что его здесь видела, хоть кому-нибудь дома проговорится, то перед смертью, которая не замедлит явиться, она будет страдать и сильно мучиться. Потом он подробно описал ей Дарановски и спросил, является этот Гитлер, живущий в «Гранде», настоящим Гитлером или искусно замаскированным двойником. Стася по поводу Гитлера ничего толкового сказать не могла, потому что на втором этаже она ведь не убирается, а эсэсовцы оттуда всех гоняют. А вот эту Драбиновскую, или как ее там, она хорошо знала, потому что та жила в номере 319, а это третий этаж, а третий этаж – это ведь Стасина территория. Стася добавила еще, что эта дамочка – крикливая сука и неряха, потому что вся мочалка в ванной в ее волосах и подмести в комнате даже нельзя – весь пол усыпан исписанными листочками и обрывками бумаги. Раз Стася было попыталась их разобрать да в надлежащем немецком орднунге разложить, так такую взбучку ей Драбиновская эта устроила, что, наверно, весь этаж слышал. И все только потому, что Стася

листочки с пола собирала и печатной машинки только локоточком дотронулась. А всего в комнате Драбиновской этой аж три печатные машинки стоят.

Тут Стефан Стасю за руку схватил и пообещал, что, если она все признает о Гитлере и Дарановски и вообще обо всем, что тут в отеле происходит, так он ей новые чулочки купит. А если она ему какой-нибудь листочек из комнаты Дарановски выкрадет – то даже и самую наимоднейшую комбинацию. А если две бумажки – то еще и коробку конфет в придачу.

Следующим вечером Стефан снова вызвался добровольцем на вечернее стуканье по мостовой у «Гранда». Он притворился, что провожает Стасю, а она ему рассказала, что это самый что ни на есть заправдашний Адольф, что сразу в трех номерах – 251, 252 и 253-м – он живет, а в 261-м теперь его собственная столовая, чтобы ему в ресторан не ходить, потому что он боится, что его отравят.

– Убожка, ну что ты мелешь? Ведь нам не дали ни 251, ни 252, ни даже 253-й номер – нам дали 223-й. О чем ты вообще тогда болтаешь? – перебила его она.

– Прошу прощения, барышня, но в этом конкретном случае я как раз хорошо знаю, что говорю, хотя дело касается математики, а я в математике со школы ни в дугу. Впрочем, тут речь не столько даже о математике, сколько об истории идет, барышня. Сейчас номера-то поменялись, а до войны этот наш 223-й как раз и был 253-й. И я это точно знаю, – ответил он спокойно.

– На чем я там остановился? Ага, на том, как Стефан провожал подкупленную Стасю... Я уж знаю, – он нервно почесал голову. – А эта Драбиновская – это на самом деле Герда Дарановски, секретарь Гитлера. Это доподлинно известно от Ирены из бухгалтерии, с которой она сидела за одной партой в школе в Гдыне. Эта Ирена счета выставляла, и там, в этих счетах, все было написано – кто, где и за сколько. Ведь для швабов бухгалтерия – святое дело. А раз уж речь пошла о конфетах, то она ему для верности сегодня аж три целых бумажки выкрала. Чуток помятые, но писанные на немецком и с печатями, а значит – сто процентов, что важные. И еще, что по поводу секретности он может не волноваться, потому что дома все, включая его уважаемую жену, пани Матильду, считают, что пан офицер Стефан в какой-то военной делегации. А что касается комбинации, так она предпочитает беленькие или уж кремовые с кружевами по низу и чтобы была выше колен.

Стефан спрятал тогда три помятые бумажки в карман и, ничего по поводу комбинации не ответив, вернулся на свой пост у «Гранда». Потом, ночью, когда все уже заснуло, он при свете фонарика эти бумажки достал, расправил и начал читать. Читал дед Стефан по-немецки чуть лучше, чем говорил, но все равно заняло у него это занятие не меньше часа. И из этих измятых Стасиных бумажек он не узнал ничего нового. В одной записке, адресованной какому-то доктору в Берлине, Гитлер писал, что душевнобольных нужно начинать потихоньку ликвидировать, но как-то поделикатнее. А в другой – что жидов надо убивать и сжигать, чтобы их как можно скорее совсем истребить. Это дед уже и так знал давно, поэтому очень сильно волновался за нашу тетушку из Белостока: у нее муж был еврей, который присылал им по собственной инициативе картошку и уголь на зиму. Стефан думал, что если того, не дай Бог, сожгут, то им, пожалуй, зимой-то тяжеленько придется без его посылок. Но вообще он во все это не очень-то верил. Потому что евреев ведь никто не любил: ни в Германии, ни в Вольном городе Гданьске, ни в Сопоте, ни во всей Польше, не говоря уже о том доме, где он жил. Но чтобы вот так взять и сжечь? Однако бумажки от Стаси для верности он спрятал в задний карман с застежкой. Чтобы не выпали случайно. Главным образом из-за собственноручной подписи Гитлера, сделанной вечным пером, и из-за размазанных этих гербовых личных печатей Адольфа. А через два дня он в газете прочитал тот самый текст из второго письма. Там уже официально было сказано, чтобы евреев убивать. О психах, однако же, в газетах не писали. Потом-то всплыло, что и вправду Адольф первый приказ отправлять евреев в крематории написал в «Гранде» в номерах 251, 252 или 253, а Дарановски перепечатала это на одной из своих трех машинок в своем 319-м номере на третьем этаже. А дед Стефан знал об этом за два дня благодаря ушедшей Стасе, которая хотела чулки и комбинацию. Он еще удивлялся сильно, что на той бумажке дата стояла «1 сентября», хотя уже добрых три недели с первого-то сентября прошло. Но наверно, это какой-то политический смысл имело – дата эта.

Понять, что именно это и было официальным началом Освенцима, дед так и не понял, поэтому во всем этом для него не было ничего из ряда вон выходящего. Ему понравилась Дарановски – и только это и было для него важно. Поэтому когда ночью он во время дежурства обходил «Гранд», то всегда поглядывал на второй этаж. В 319-м номере свет иногда гас. А вот у Адольфа во всех трех номерах на втором этаже, чуть слева, если смотреть со стороны пляжа, свет не гас никогда.

Дед Стефан до конца жизни остался очарован этой краткой прогулкой на угол Морской и Хаффнера с барышней Дарановски. Возможно, так на него

подействовала магия громких имен, потому что Дарановски красавицей-то отнюдь не была, а разговором и умом очаровать Стефана в те несколько минут прогулки уж точно не могла бы – главным образом принимая во внимание языковой барьер. Бабушка Матильда из-за этой его очарованности даже плакала. Не раз – на днях рождения и на годовщинах свадьбы тоже. И даже не крестинах внуков. Прямо сидело это в ней как заноза. Такую страшную печаль она испытывала. Но так всегда бывает с магией – магия всегда печальна. Иначе она не была бы магией. Да вы, барышня, и сами знаете, как оно...

– А вина-то уж у нас не осталось, да? Оно там, на пляже, в песке, да? – спросил он вдруг хриплым голосом.

– Да там уже не было ничего. Мы закажем бутылку вина за завтраком. Пошли. Дорасскажешь за едой...

Они вернулись в отель. Консьерж в цилиндре склонился перед ними, пытаясь сдержать улыбку. Администраторша нагнула голову, притворяясь, будто сосредоточенно смотрит в монитор компьютера. Они медленно прошли через весь холл, потом миновали несколько ступенек, ведущих в широкий коридор, застеленный красным мягким ковром. В конце коридора находились открытые настежь двери ресторана.

Убожка шел по красному ковру так осторожно, как будто боялся его запачкать, и все время оборачивался, словно опасался, что кто-то за ними гонится. В просторном зале с множеством столиков уже кое-где сидели люди.

Справа молодая девушка в белом летнем платье и с белой заколкой в волосах играла какую-то приятную мелодию на фортепиано, стоящем в центре овального эркера с высокими оконными проемами. Когда они вошли в зал, она подняла голову, посмотрела на них, тут же перестала играть и побежала к ним.

– Пан Мариан! – бросилась она на шею Убожке. – Как же я рада! Все говорили, что вы... – она на секунду запнулась, – ну что вы... Неважно. Я Зузанка, одноклассница вашей дочки. Зузанна Варкоч. Вы меня научили на велосипеде кататься! Помните? Это я, Зузка, я с вашей Юлькой за одной партой сидела...

Убожка стоял с таким видом, как будто хотел провалиться сквозь землю. Он вытянул руки вдоль тела, стиснув кулаки, закрыл глаза и нетерпеливо

переступал с ноги на ногу. Девушка наконец оторвалась от него и с улыбкой произнесла:

– Я учусь на отделении фортепиано в Академии Гданьска. А тут просто подрабатываю – халтуру. Сейчас что-нибудь для вас сыграю. И для вас, конечно, тоже, – поклонилась она в сторону спутницы Убожки.

– Конечно, я пани Зузанну помню, – тихо ответил Убожка. – Ведь это ты научила Юльчу курить, – добавил он, смеясь. – Помнишь, как я вас на крыше застукал?

– Да ну что вы, пан Мариан, это неправда! Джули начала курить гораздо раньше меня. Это ваша жена такое придумала, потому что для нее Юлька ведь всегда была святая, – захихикала девушка. – Но мне надо возвращаться к инструменту. Боже, как я рада, что вас встретила!

Убожка проводил ее взглядом, а потом огляделся по сторонам и спросил:

– Мы можем сесть за столик у окна? Оттуда лучше всего видно платаны и пляж.

– Разумеется, где хочешь, там и сядем. Эта пианистка такая милая. И очень симпатичная.

– Зюзка? Это да. Это она в мать такая красавица. Ее мать – украинка, из Киева. А от отца она унаследовала способности к музыке.

Убожка не ошибся – из окна действительно открывался великолепный вид на пляж и на море. Тучи совсем рассеялись, выглянуло солнце. Появились первые гуляющие. Чуть издалека доносились звуки приятной, слегка грустной мелодии. К столику подошел официант, он принес чашки, поставил на стол тарелки, положил приборы.

– Что будете пить? – осведомился он.

– А вы могли бы принести нам какое-нибудь хорошее вино? В бутылке, не в бокалах?

Он посмотрел на них с удивлением, пряча усмешку.

– Вообще-то я имел в виду кофе или чай. Но вино мы тоже можем подать к завтраку, – ответил он весело. – Вы предпочитаете красное или белое?

– Мариан, ты как думаешь? Продолжим с красным или перейдем на белое? – спросила она, поворачиваясь к Убожке.

Убожка сжимал в пальцах салфетку, впиваясь в нее ногтями. Он плакал, закусив губу.

Женщина встала, обошла стол кругом и опустилась на колени перед Убожкой.

– Ну что такое, Мариан? – спросила она шепотом.

– Я тогда подойду позднее, – сообщил официант.

Но она его остановила, подняв глаза:

– Нет! Нам нужно вино прямо сейчас, не потом! Вы что, не видите?

– Мариан, пьем красное или белое? – снова тихо спросила она.

– Да любое, лишь бы не из яблок, – ответил Убожка.

– Тогда принесите нам бутылку красного вина, два кофе, два чая и две рюмки чистой водки, – велела она официанту.

Когда он отошел, она взяла Убожку за руку и спросила:

– Ну что такое? Что довело тебя до слез?

– Да ничего. Просто задумался. Зуза играла этот отрывок на выпускном у Юльчи. Но тогда она играла хуже и с ошибками, а сейчас-то, как сам Шопен, научилась.

– И это так тебя расстроило? То, что теперь она лучше играет? Ну так сыграет еще на ее свадьбе – тогда будешь по-другому к этому относиться. Знаешь, что,

Убожка? Ты романтик, еще больший романтик, чем Шопен. А теперь пойдём-ка со мной к буфету. Нужно же взять что-нибудь на закуску.

Они подошли к столам, покрытым вышитыми скатертями. Она сунула Убожке в руку тарелку, и они двинулись вдоль фарфоровых супниц, серебряных мисок и посеребренных подносов, пахнущих жареной колбасой, яичницей и печеными овощами. Ей приходилось бывать в отелях не раз, но такого вкусного и изысканного завтрака она еще не встречала. А может быть, это просто давали о себе знать голод и бессонная ночь.

Убожка протиснулся в узкий проход между столами. На тарелке у него лежали два куса ржаного хлеба, немножко зеленого лука и чуть-чуть лука репчатого, нарезанного колечками.

Она повернулась к нему, держа в руках полную снеди тарелку:

– Слушай, Убожка, если ты мне таким образом пытаешься сказать, что я слишком толстая и прожорливая, то даже не утруждай себя – я и сама это прекрасно знаю! Но у меня была очень тяжелая ночь, и я хочу себя за эту ночь как-то вознаградить, – заявила она, усмехаясь.

Мимо них протиснулась толстая официантка с подносом, полным булочек. Убожка кашлянул и преградил ей дорогу.

– Простите, пани, что отвлекаю. Но нельзя ли мне попросить яичницу-глазунью, пожалуйста? – робко спросил он.

Официантка смерила его презрительным взглядом с головы до ног. На лице ее отразилась смесь удивления, нетерпения и раздражения.

– Вон там обычная яичница стоит. Но если вы так хотите, то можно и глазунью. Сколько вам яиц? – спросила она недовольно.

– Четыре. С помидорами. Сначала пусть их на сковородке чуть поджарят, помидоры-то, только уж, разумеется, без шкурки, а потом, когда помидорки станут мягкими, тогда только яйца разбивать. И жарить только с одной стороны. И недолго, чтобы она не подгорела и не высохла. Вы запомнили, милая пани?

– А яйца вам какие? Перепелиные, может? Или павлиньи? Или вообще страусиные? – спросила она со злостью. – Ну ладно. Глазунья из четырех яиц. Вы за каким столиком сидите? – нетерпеливо добавила она.

– А вон там, у окошка, – спокойно ответил Убожка, пальцем указывая в сторону окна, – вон там, где господин с бутылкой вина.

Они вернулись за столик. Официант терпеливо ждал их, чтобы откупорить вино. Немножко налил в бокал Убожки, потом положил рядом с бокалом бумажную салфетку, а на нее – красную пробку от вина. Убожка одним глотком выпил вино и закусил корочкой ржаного хлеба.

– Вам понравилось вино, пан? – неуверенно спросил официант.

– Чуток кисловатое, но для завтрака сгодится вполне, – ответил Убожка, не глядя на него.

Она улыбнулась и, повернувшись к официанту, произнесла:

– Это ни в коем случае не критика. Так что прошу вас, вы можете спокойно разливать вино по бокалам.

Убожка смотрел в окно, прихлебывая вино, она ела яичницу, время от времени бросая на него взгляды, – она все не могла решить, сколько ему может быть лет. У него был красивый профиль: очень мужские, крупные и мощные, черты лица, небольшой нос, маленькие уши, широкие полные губы. Очень длинные темные ресницы. Сейчас, когда свет из окна падал ему на лицо, глаза его казались зелено-голубыми. Если постричь ему волосы и сбрить эту растрепанную, редкую бороденку – можно было бы сказать, что он красивый. Руки у него были ужасные – все в царапинах и язвах. Грубо обгрызенные ногти, а кожа на подушечках пальцев пожелтела, местами даже отдавала в бронзу.

– Слушай, Мариан, сколько тебе лет? – наконец решила она спросить напрямую.

Он взглянул на нее так, будто она разбудила его от крепкого, глубокого сна. Потянулся к рюмке с водкой.



– Когда Юльча умерла, мне было сорок пять, – ответил он и опрокинул рюмку в рот.

Она опустила вилку на тарелку, вытерла рот салфеткой и сложила руки на коленях.

– А когда это было?

– Десять лет и два месяца уж будет...

Официантка принесла тарелку.

Убожка посыпал яичницу зеленым луком и начал жадно есть.

– Расскажешь мне об этом? – спросила она.

– Нет.

– А про деда Стефана закончишь рассказ?

– Да. А на чем мы там, барышня, остановились? А то я уж запомнил.

– Мы остановились на грусти бабушки Матильды.

– А, ну да. Матильда на самом деле семье-то не рассказывала, почему ей так грустно. Это уже перед самой смертью она призналась моему отцу, своему сыну, Роману. Так как дед Стефан на него рукой махнул и отцовского своего отношения никак не проявлял, то бабушка Матильда хотела как-то это хоть немножко исправить. И когда умирала, в комнату свою и к смертному своему одру Стефана вообще не позвала, а только Романа. И тогда ему призналась, что мужа как-то вот так потеряла, считай, из-за этой Драбиновской. Что непонятно, почему и как это случилось, а уж он был не совсем ее, не совсем.

– Потому что женщина ведь всегда знает, когда мужчина полностью ей принадлежит, а когда нет, правда, ведь, барышня? – спросил он.

– Правда. Знает. Убожка, можно тебя кое о чем попросить? Ты не мог бы перестать называть меня барышней? Я себя как-то неуютно чувствую, как будто из другой эпохи. Как какая-нибудь героиня сказки. Меня зовут Юстина. Запомнишь?

– Само собой. Хотя я в школе-то на польском больше всего сказки любил.

– Вот и хорошо. А теперь прости, что я тебя перебила...

– А вся эта история с Дарановски тоже как будто из другой эпохи. Как будто книжку читаю – такую, какую люди с собой берут в дорогу или на пляж. Отец мой, Роман, после войны за ум взялся: в карты играть перестал, а потом благодаря коммунистам даже институт окончил. Но дед Стефан этого как будто не заметил даже. Так и продолжал считать его покеристом, игроком-неудачником. Думаю, если бы отец в покер выигрывал, – все было бы иначе. В любом случае мой отец Дарановски никогда не забывал. Он ее помнил, наверно, даже лучше, чем сам дед Стефан. Друга-историка из университета уговорил, чтобы тот все о Гитлере в Сопоте в сентябре тридцать девятого разузнал. Да чтобы все достоверно и научно, а не только со слов Стаси, распущенной дочери соседней, которой так и не удалось его соблазнить.

– Юстинка, можно твою водку выпить? – спросил он вдруг.

– Нет. Налей себе вина. Я тоже хочу водки.

– Но это вино – это же настоящий уксус! Даже яблочное вино, эта блевотина у нас в киоске, и то лучше.

– Ну, ты пей и рассказывай, – улыбнулась она.

– И вот этот историк ему из архивов всю информацию выудил и преподнес, как у врача на медкомиссии. В «Гранде» в сентябре тридцать девятого действительно останавливался настоящий Гитлер и настоящая Дарановски, его третья секретарша. Потому что всего их у Адольфа было три. Но только Дарановски Герда, которая известна как Дара, приехала или прилетела, потому как на этот счет никаких достоверных сведений не имеется, с Адольфом и всей его свитой в Сопот. В то время она была обручена с Эрихом Кемпкой, личным шофером Гитлера, но замуж вышла только в сорок третьем году и за другого. За какого-то

летчика, важного офицера люфтваффе. Дара была с Адольфом до самого конца, как какая-нибудь фанатка одержимая. Она помогала ему в бункере в Берлине в мае сорок пятого, а еще она заботилась о шестерых детях Магды Геббельс. Тех самых, которых эта сука собственноручно убила. Дара присутствовала на свадьбе Адольфа и Евы Браун в бункере. Она знала, что Гитлер на следующий день застрелится, а молодая пани Браун отравится цианистым калием. Во время прощального ужина Гитлер сам вручил Дарановски капсулу с цианидом. Но Герда его не приняла. Первого мая сорок пятого года она попыталась сбежать из бункера. И ей это даже удалось. Но убежала она недалеко. Всю компанию беглецов сцапали советские солдаты второго мая в каком-то подвале в центре Берлина. После войны Дара рассказывала, как русские ее много раз насиловали во время ее кратковременного пребывания в неволе. Как будто могло быть иначе. В сорок шестом она развелась со своим офицером, героем люфтваффе. Не из-за измены, не из-за проблем с алкоголем, не из-за рукоприкладства – нет, а потому что он не захотел с ней спускаться в бункер и оставаться с Гитлером до конца. А вот ее бывший жених, этот Кемпка, шофер Адольфа, не покидал бункера до последней минуты. И это именно он привез ту канистру с бензином, из которой поливали труп Гитлера и его жены Браун. И поджигал он. С бывшими женихами, а иногда и с мужьями такое частенько бывает – трудно их из жизни своей и из головы выкинуть. Вы, пани Юстина, то есть Юстинка, об этом не забывают... Вот и вся история. Эта гитлеровская Дарановски затесалась в жизнь моей семьи как-то случайно и очень странно. И сегодня, вот через вас и этот отель, как будто с того света вернулась словно злой дух.

– А эта глазуня – это недоразумение какое-то. Горелая и совсем не такая, как готовила моя женушка.

В этот момент у столика появилась администраторша. Она терпеливо подождала, пока они обратят на нее внимание.

– Номер вашей комнаты 223, на втором этаже, она уже готова. Правда, заселение у нас начинается в двенадцать, но в порядке исключения и совершенно бесплатно мы предоставляем вам возможность заселиться прямо сейчас...

Портье проводил их по крутым ступенькам лестницы на второй этаж, который тут почему-то назывался «повышенным этажом». По дороге он подозрительно косился на Убожку и несколько раз осведомился об их багаже. Он не скрывал своего удивления, когда она наконец проинформировала его, что никакого багажа у них нет, потому что «это было очень спонтанное решение – провести время в этом отеле вдвоем». Перед дверью номера – все время глядя на Убожку, – он провел краткий инструктаж, как следует открывать дверь в комнату при помощи магнитной карточки, после чего всунул карточку в приемник кверху ногами.

– Нужно полоской вниз, – сказал Убожко, когда дверь не открылась.

– Не полоской, а чипом, – огрызнулся портье, явно нервничая.

Дверь наконец открылась, и он пригласил их в комнату.

Убожка, заметив на полу ковер, тут же снял ботинки и сунул их в карманы своих штанов.

Поскольку портье не уходил и что-то бубнил по поводу выключателей, Убожка вытянул из правого кармана один ботинок и вытряхнул из него несколько монет. Портье поспешно спрятал монетки в карман пиджака и молча, нахмурясь, удалился.

Этот номер 223, на повышенном этаже, был больше всей варшавской квартиры Юстины. В нем была кухня, прихожая, кладовка и балкон. Солнечный свет из окон отражался от огромной хрустальной лампы, висевшей на стене, и освещал большой стол, посередине которого стояла ваза с цветами, а рядом с ней – обернутая целлофаном плетеная корзина, доверху наполненная фруктами.

Комната, а если точнее – огромный зал, хоть бал устраивай! – не сильно отличалась, если не считать размеры, от всех остальных гостиничных номеров, в которых ей доводилось бывать. Стилизованная под старину, дорогая и безвкусная современная мебель красного дерева, блестящие электронные гаджеты, обитые атласом стулья на кривых ножках, глубокие бархатные кресла, лампы, лампочки и лампушечки на каждом шагу, куча пультов – от телевизора, от DVD, от кондиционера, от светильников, от гигантских люстр, как будто попавших сюда прямым из фильма «Анна Каренина». Пятизвездочный

декаданс. Непомерная роскошь – и полная безликость. Ничего, что могло бы задержаться в памяти.

«И вот тут жил Гитлер?» – подумала она разочарованно, входя в ванную, в которой пушистые полотенца висели на серебристых батареях.

Убожка, будто угадав ее мысли, произнес:

– Адольф не в этой ванне мылся. Я это на сто процентов знаю. Хотя многие готовы заплатить огромные суммы, чтобы в этой ванне искупаться и потом об этом всем рассказывать. И что любопытно: немцы вот брезгают, а американцы, например, если бы было можно, выдрали бы эту ванну с корнем и увезли бы на самолете домой. Я это знаю от Тоси – она иногда работает здесь на ресепшен. Ее отец, Валентин, был со мной вместе в реабилитационном центре. Мы иногда встречаемся, болтаем о том о сем. А ту самую ванну давным-давно русские украли – солдаты Красной армии. Как только появились в «Гранде». Они все, что можно было украсть, украли. И потом на рынках продавали. Бабушка Матильда рассказывала мне о часовщике Владеке, у которого была лавка на Мончаке. Пришел, значит, к нему один такой ошалевший от победы русский с косыми глазами и велел ему из одних больших часов с маятником сделать сто. На руку. И за два дня. Владек был настоящим профессионалом, знатоком, он сразу понял, что эти часы, что русский принес, очень старые, настоящая драгоценность семнадцатого века, поэтому он собрал все маленькие часики, которые у него были, еще одолжил у коллеги в Гдыни и через два дня этому русскому выдал целый ворох наручных часов. А его потом коммуняки обвинили, что он какой-то музей обокрал. Два года с конфискацией он за эти часы получил и сидел до самой амнистии. А ведь он только хотел спасти образец польской культуры и наследства, так сказать, предков... Потому что эти часы, за которые он сидел, были наши, польские, а те наручные, маленькие – обычные швейцарские.

– А тут, наверно, курить-то нельзя, да? – спросил он вдруг, оглядываясь по сторонам. – Ни одной пепельнички не поставили. Вот, кроме самого здания, тут уже ничего от старого «Гранда» не осталось. Эти, из корпорации, сделали тут такой ремонт, что русские с краденными ваннами на плечах – это просто младенцы. Не говоря уж о Владеке. Русские хотя бы оставили стены и полы, а эти ремонтники ободрали весь отель изнутри, оскальпировали его, всю память из него вытравили, все внутренности вырезали, всю кровь выпустили ему. А потом напихали всего этого шика и налепили звезд в буклеты рекламные и на вывеску у входа...

Она слушала, сидя на краю ванны и глядя на него сквозь щелку приоткрытой двери.

Вот он стоит, как будто боится пройти дальше, босой, с ботинками в карманах. Как будто не до конца уверен, что он здесь желанный гость.

С самой первой секунды, еще там, на пляже, она почувствовала какую-то ненормальную близость с этим человеком. Не только из-за его заботливости и этого дурацкого зонтика.

Ее всегда тянуло к клошарам, бомжам, бездомным, маргиналам, которых сытые сволочи за людей не считают. И этот ее интерес не был только следствием ее профессионального, журналистского любопытства в поисках «жареного» материала. Этот интерес родился уже очень давно. Еще на заре польского сермяжного, дикого капитализма. Тогда на улицах появились те, кто не смог прыгнуть на подножку уходящего к хорошей жизни поезда. Слишком старые, слишком больные, необоротистые, малообразованные, слишком привыкшие к опеке так называемого хозяина. Но были среди них и такие, которые ни на какого хозяина не рассчитывали, а просто не умели толкаться локтями, распихивая конкурентов. И они оставались позади, становились безработными и переставали быть главами семьи, добытчиками, теряли уважение и имущество своих жен, а очень часто – и своих детей. Понимая это, они начинали пить и тем самым еще больше увязали в своей немощи, депрессии, социопатии. В какой-то момент, потеряв все и всех, что у них было, они оказывались на улице.

Она это все знала из первых рук. Она присаживалась, ведомая каким-то непонятным даже для нее самой импульсом, перед грязными, опустившимися, голодными «отбросами» – теми, кто не вписался в бурлящий поток жизни и оказался выброшенным на берег. Если бы она писала об этом сейчас – она бы употребила слово *mainstream*. А если бы вдруг забыла и все-таки написала бы «поток» (потому что все-таки машинально всегда выбирает родной язык, хотя и безрезультатно), то редактор и корректор все равно исправили бы его на *stream*. Потому что слово «поток» теперь употребляют только поэты и дураки. А все корпоранты – замечательный неологизм Мариана Убогого – говорят только *stream*, *offstream* и *mainstream*. Но тогда для нее все было одним потоком. И они, выброшенные какой-то загадочной мощной силой на берег, вынесенные за скобки, таили в себе некую загадку «инаковости» и этим привлекали ее

нескромный интерес. Она хотела знать – почему? Как это произошло? Вот из любопытства она и присаживалась рядом с ними, за ними, перед ними. Сначала робко, неуверенно, поодаль, потом – на расстоянии вытянутой руки, а в конце концов – плечом к плечу. Уставившись взглядом на свои обгрызенные ногти, чтобы не встречаться с ними взглядом, она слушала и слушала их истории. И у этих историй одинаковым был только конец, а все остальное было совсем разное. Потому что у каждого маргинала и помоечника свои ошибки и своя биография.

Она вспоминает, как брала с собой из дома огромные сумки со вторым завтраком, таскала у отца сигареты, вытягивала из домашней библиотеки старые книги, набивала школьный рюкзак прочитанными газетами, опустошала ящик с лекарствами, из старых коробок в подвале в тайне от родителей выживала ненужные одеяла, подушки, простыни, полотенца. И несла все это им. И потом аккуратно и старательно раздавала – как подарки, а не как милостыню. Магда, ее подруга, единственная, с которой она дружит до сих пор, не могла взять в толк, зачем она «вообще приближается к таким типам». В чем-то даже помогая, Магда все равно мысленно ее осуждала, потому что не могла себе представить, что кто-то по собственной воле захочет даже просто рядом с ними находиться, не говоря уже о том, чтобы прикоснуться к ним. Одна мысль об этом вызывала у нее дрожь, отвращение и панику – похожие чувства она испытывала к паукам. Когда они иногда встречались в доме у Магды после возвращения Юстины с какого-нибудь junky meeting – так Магда называла ее эскапады, то подруга заставляла Юстину немедленно и в первую очередь отправляться в ванную и мыть руки с мылом. Как следует. Это было странно и несправедливо. Ведь многие из этих «бездомных» носили под ногтями меньше грязи, чем сегодняшние надушенные и нагеленные корпоранты, если пользоваться выражением Убожки.

Вот, например, Василь Явленец. Он на губной гармошке мог сыграть что угодно, говорили, что «Явленец на губной гармошке даже Вагнера изобразит». Чаще всего он играл на автобусной остановке. Ставил перед собой банку для денег и начинал играть. Но много денег не набирал – потому что не хотел играть шансон или музыку, которая звучит в лифтах в многоэтажных торговых центрах. Ночевал Василь чаще всего в котельной здания городской администрации – его двоюродный брат со стороны матери был там истопником и оставлял – вопреки всем должностным инструкциям и приказам – двери открытыми. Так он понимал свой родственный долг. Зимой это было особенно важно. Рядом с котельной была горка, которая весной была сплошь усыпана маками. Там Юстина частенько сжививала и слушала истории Василя. Главным образом о том, как его

собственная жена по пьяни трахалась с его собственным зятем, которого он принял под свою крышу.

Так вот, этот самый Василь был чистюля необыкновенный. Утром, сразу после открытия администрации, он тихонечко пробирался в туалет и там мылся весь, с головы до пят. Он мог не есть, не пить, но шампунь и мыло всегда покупал. И щеточку для рук тоже – потому что как же можно играть на губной гармошке с грязью под ногтями?! Так он говорил. Как-то раз за мытьем в туалете его застал охранник. Василь, убегая, зацепился за колючую проволоку на заборе, которым было огорожено здание, ржавая проволока разорвала бедро от паха до колена. Юстина приходила на горку каждый день, две недели. Промывала ему рану, прижигала йодом, вычищала гной, наклеивала пластырь. И через три недели Василь снова играл на губной гармошке у остановки.

А однажды его на горке не оказалось. И несколько следующих дней его тоже не было. Двоюродный брат, истопник, рассказал, что у Василя «какая-то серьезная проблема с самочувствием, а когда он чувствует, что идет ко дну – ему всегда нужно вернуться хоть ненадолго в Брест, откуда он родом». Василь, однако, до Бреста не добрался – через три месяца после его исчезновения этот двоюродный брат ждал ее около школы. Василя нашел болтающимся в петле на дереве в лесу под Белой Рощей пес лесничего.

Полицейские не нашли при висельнике никаких записок. Только в кармане штанов, между листами обгоревшего паспорта, лежала мятая и потрепанная бумажка, на которой было написано: «Губную гармошку отдать пани Юстинке. Василь Явленец».

\* \* \*

– Я что-то не то отчебучил? Не хотел вас, барышня, то есть Юстинка, обижать или расстраивать, – произнес Убожка, всовывая голову в приоткрытую дверь.

Она вышла из задумчивости, подняла голову и взглянула на него с улыбкой:

– Ты меня ничем не обижал и не расстраивал. Ну что ты! Это я так... задумалась просто.



– О чем-то грустном? Вон и щеки-то мокрые...

– Немножко грустное, да, но это давно было, как ты говоришь. Сейчас пройдет. Оно всегда проходит. Все когда-нибудь проходит... – Слушай, Убожка, ты так и будешь стоять на пороге и подглядывать, как женщина плачет? Давай-ка лучше иди в комнату и почисти для меня яблочко от шкурки. Или хотя бы апельсин. А меня на минутку оставь одну, – сказала она, прикрывая дверь.

Когда через минуту она снова открыла дверь, Убожка стоял на том же самом месте в той же самой позе.

– Я сплю на той кровати у окна, хорошо? И включи, пожалуйста, кондиционер, потому что становится жарко. Или открой окна, если, конечно, они вообще открываются.

Через несколько минут она вошла в комнату и увидела, что Убожка возится с цветами в вазе. На ее постели стояли два блюдечка: одно – с порезанным на дольки яблоком, второе – с очищенным апельсином.

– Ты душка, Убожка, знаешь об этом? Душка... – шепнула она ему на ухо. – А что ты с этими цветами делаешь? – спросила она, вытягиваясь на постели.

– Да разве можно в одну вазу ставить розы и нарциссы? Ну кто так делает? Только последние дураки! – раздраженно ответил он. – Розы, а уж эти эгоисты белые – особенно, хотят стоять всегда одни, им даже зелень мешает, а уж тем более эти отравители поэтикусы.

– Это последнее слово ты на латыни сказал, да, Убожка? – спросила она, смеясь в голос. – А я и не знала, что нарциссы так красиво называются!

– Да. Но это только белые. И они, кстати, в большей степени даже нарциссы, чем желтые, но их мало кто различает. Я их чуть-чуть подрежу и переставлю в графин. Можно? – спросил он и потянулся за хрустальным графином, стоящим на серебряном подносе рядом с бутылкой вина.

Она не ответила.

Почувствовав, как вибрирует телефон в кармане халата, посмотрела на экран, опознала номер редакции и решила, что трубку брать не будет. Ни сейчас, ни завтра. Ни даже в понедельник.

Потом проверила сообщения – так, на всякий случай. Он не написал. И звонить не пытался. Он оставил ее растерянную, заплаканную, полупьяную, одну на пустом пляже, посреди ночи, мокрую от дождя – и пошел себе.

Он ее и привлек этим своим умением «вынести ненужное за скобки».

Она прекрасно помнила их первую встречу. Три года назад, в центре Познани, в каком-то ночном клубе. Не по собственному желанию, а по заданию редакции она делала там интервью со звездами, которые в рамках какой-то благотворительной акции позволили своим агентам вывезти их из субботней вечерней Варшавы (а ведь именно по субботам по клубам Варшавы идет самый чес!) в маленькую, «провинциальную» Познань. Некоторые из них жаловались (но только при выключенном микрофоне!), что ради этого «добра» первый раз опустили планку и живут в трехзвездочной гостинице. А один, лысый денди в шелковом шарфике, злоупотребивший услугами солярия, эксперт по моде утреннего телевидения, влюбленный в себя без памяти нарцисс, отказался от проживания в гостинице, потому как, по его собственному откровенному признанию, «три звезды – это, знаете, ниже моего достоинства!»

И все это происходило в рамках благотворительной акции с его участием, о которой обязательно напишут в глянцевах журналах и цветных газетках с большим тиражом.

А она о нем писать не стала, хотя очень хотела. Правда, больше всего ей хотелось назвать его «старым пердуном».

После этой встречи с денди ей очень нужно было в туалет. Очередь к дверям женского туалета растянулась аж до дверей мужского. Через несколько минут ожидания она уже нетерпеливо перебирала ногами, потом сняла туфли на шпильке – это всегда помогало, потом расстегнула пояс, давящий на живот. Когда дверь мужского туалета в очередной раз распахнулась, она подождала, пока какой-то самец с сигаретой в зубах и толстенной золотой цепью на шее застегнет до конца ширинку, огляделась по сторонам и на цыпочках быстренько

вбежала внутрь мужского туалета, юркнула в кабинку и заперлась. Потом, торопливо моя руки, она подняла голову и уперлась взглядом в зеркало перед собой: там отражался худой, сутулый, печальный мужчина. Он стоял за ней, опираясь на черенок метлы или чего-то в этом роде. Она уже не помнит почему, но никакого смущения она тогда не почувствовала. Как и потом, когда она уже знала его имя – у нее не было ни малейшей потребности как-то оправдываться или объясняться. За то, что прокралась туда, где ее по определению быть не должно. Может быть, будь на его месте любой другой мужчина – она бы это смущение почувствовала. А вот при нем – нет. Совсем. Она смотрела в его глаза, отраженные в зеркале. А он смотрел в ее глаза.

Так они познакомились.

Потом, позже, уже когда они были вместе, они иногда в разговорах возвращались к этой встрече в мужском туалете в познаньском клубе. Он шутливо утверждал, что вовсе и не был грустным, и вообще не смотрел ей в глаза, а только на ее оттопыренный, невыразимо манящий, огромный задок, а в глаза заглянул ей только раз, когда она, уже перед выходом из туалета, неожиданно подошла к нему, чтобы поправить загнутый воротник его пиджака. И то только на короткое мгновение, потому что сразу после этого он опустил взгляд в ее декольте.

Первые слова они сказали друг другу примерно час спустя.

Она сидела на полу под вентилятором в переполненной курилке и слушала взятые интервью через наушники диктофона. Он подсел к ней. Вертел в руке ее пепельницу и молчал. Она улыбнулась ему. Потом еще раз. Потом вытащила из ушей наушники.

Вообще-то она планировала вернуться в Варшаву в эту же ночь. Утром она собиралась в редакцию – переписать интервью, разослать на подпись, чтобы они могли попасть уже в понедельничный выпуск. Она так и с агентами, и импресарио звезд договаривалась. Поэтому весь вечер она пила только минералку и кофе, борясь с желанием напиться.

Они начали разговаривать.

Точнее, говорить начала она. Так было всегда. Когда речь шла о чем-то важном в их жизни – всегда именно она начинала разговор. И в самом начале, в ту их первую ночь – тоже. Ей это показалось просто обворожительным – к тому времени она была сыта по горло мужчинами, которые, даже не дожидаясь вопросов, начинали захлеб говорить о себе.

Он был на семь лет моложе ее. Ну, то есть он и сейчас на семь лет моложе ее. Она закусила губу. Первый раз она употребила прошедшее время, размышляя о нем. Ему было двадцать восемь лет, и он все еще был студентом. Сначала ее это немножко удивило – сама она закончила учебу (причем магистром, а не каким-нибудь там лицензиатом), когда ей было двадцать три. Он изучал философию и социологию одновременно.

«Освободившись от диктатуры домашнего мещанства», как он сам выразился, он начал жить так, «как хотел, вопреки отцу и его женщине», которая так никогда и не смогла – хотя очень хотела – заменить ему мать и была «чистейшим образцом мачехи из страшных сказок для детей». Освободился он, уехав однажды дождливым утром из Гданьска в Познань и оставив только несколько слов в записке, прижатой к холодильнику магнитиком. Он не написал, куда уезжает, написал только, что не вернется. Отец его не искал. Скорей всего он и не заметил его исчезновения.

Ну, он учился справляться и без помощи отца. Потом, когда уже научился, имел крышу над головой и накопил немножко денег, он поступил на два факультета. Учился он, естественно, для себя, но все же была в его такой тяге к образованию значительная доля мести, вынашиваемой годами, – и он это признает. С нетерпением ждет он момента, когда сможет выслать копии своих двух дипломов отцу, для которого всегда был «паразитом, ленивым, капризным дармоедом и бездарностью – таким же, как мать». Сейчас он одновременно работает и учится. В этом клубе он работает уже год. Он тут и официант, и бармен, и охранник, и уборщик (да, и туалет тоже), а если надо – то и посуду помое. Оплата почасовая и, в общем, пристойная, а кроме того, благодаря своей «профессиональной гибкости» он может приходить тогда, когда у него есть время, а это имеет огромное значение, учитывая два его факультета.

Она была профессиональной журналисткой – ей удалось добиться от него этого краткого рассказа, но заняло это несколько часов. Часть этого времени они сидели на полу в курилке, а часть – в баре на первом этаже, куда он ее пригласил. Там после первых трех бокалов вина она забыла о своих обещаниях,

интервью и возвращении в Варшаву. Было в нем что-то притягательное. Какая-то недоступность, таинственная скромность, глубина. И в какие-то моменты, когда он говорил о своих мыслях или убеждениях, – полная непригодность к жизни. В такие моменты он напоминал ей всех тех «выброшенных за борт», к которым ее всегда так тянуло. Ей тогда хотелось его утешить, обнять, прижать к груди, взять его ладони в свои, гладить по волосам или по щекам. Но это не было, как бывало обычно, сочувствием и интересом к очередной непростой человеческой судьбе – она чувствовала, что он интересуется ее и как мужчина.

Он неожиданно коснулся ее руки и спросил, любит ли она танцевать. А потом, не ожидая ответа, повел ее на маленький танцпол на противоположный конец зала. И они танцевали. Она позволила ему себя обнимать и прижимать и касаться губами ее волос. Это не было просто желанием, вызванным долгим отсутствием секса. Это нельзя было объяснить несколькими бокалами вина и тем, что уже больше года у нее в жизни не было даже случайного мужчины. Нет. Она чувствовала какое-то особенное тепло и близость с этим человеком. А еще – удивление. Потому что удивительно было, насколько она вдруг доверилась человеку, о существовании которого еще несколько часов назад даже не имела понятия. А еще ей было интересно, что будет дальше.

Из клуба они вышли, когда уже светало.

Она не сказала ему, что ей некуда пойти, что здесь у нее нет крыши над головой и места, где можно спать. Когда он спросил, не вызвать ли ей такси, она ответила, что хочет прогуляться. Он подал ей руку и повел в какой-то парк. Она устало села на скамейку, и он предложил ей пойти к нему домой. Она не помнит, как долго они ехали на такси до центра какого-то пугающе огромного района. В маленькой однокомнатной квартирке на девятом этаже он постелил ей на диване, дал ей свою пижаму, а сам улегся на двух сдвинутых креслах.

В постели они оказались только спустя четыре недели «бытия вместе», как он это называл. И то это она его в постель затащила. Она видела, как сильно он ее хочет, но видела также, что по своей робости и неуверенности он сам никогда на это не отважится, – он панически боялся сделать какое-нибудь неверное движение.

Она почувствовала, как кто-то деликатно тронул ее за плечо.

– Слушайте, Юстинка, там кто-то в дверь стучит. И уже второй раз, – услышала она взволнованный голос Убожки. – Я не хотел открывать, потому что не знаю, можно ли без разрешения.

– Почему же нет? Ведь это и твоя комната тоже, – ответила она и подошла к двери.

– Вам еще полотенца не нужны? – спросила улыбающаяся молодая женщина в темно-синей униформе и с белой наколкой на волосах.

– Я думаю, у нас достаточно полотенце, – ответила она. – Мариан, ты не мог бы посмотреть в ванной – достаточно ли у нас полотенце? Мне нужно три...

Убожка тут же вышел из комнаты и, избегая взглядом горничную, с опущенной головой, словно ученик, которого вызвали с невыученным уроком к доске, проскользнул вдоль стены коридора в ванную.

– Тут полотенце штук десять или даже больше. Мне нужно одно, – через секунду раздался его голос.

– Видите, у нас достаточно полотенце, – произнесла она, приглашая горничную войти. – Но у меня к вам огромная личная просьба, – она понизила голос. – Вы не могли бы принести мне в номер ножницы, как можно более острые, и бритвенный станок?

Горничная понимающе подмигнула и шепотом сказала:

– Конечно. В спа у меня друг работает – так что это просто. Я принесу два станка. И пенку какую-нибудь тоже организуем. Пригодится, – добавила она, улыбаясь.

Убожка вернулся в комнату не сразу – скорее всего, как она подозревала, он хотел быть уверенным, что горничная ушла. Он подошел к одному из окон, распахнул его, сел на подоконник и закурил. Дым поплыл над его головой на улицу.

– А ведь нашего «Гранда» могло бы вообще не быть. Целых два раза, – сообщил он после паузы. – И может быть, так было бы лучше для всех.

– Как это – «не быть»? – спросила она, расчесывая перед зеркалом волосы.

– Потому что Гитлер в сентябре тридцать девятого приехал в Сопот не один, а со своей свитой. С ним вместе были Борман, и Кейтель, и фон Риббентроп, и Роммель. Вся верхушка гитлеровская, все звезды, о которых мы в книжках по истории читали с вами, барышня. А приехали они затем, чтобы собственными глазами из окон своих номеров в «Гранде» наблюдать, как капитулирует Хель и вся наша страна переходит в руки немцев. Но они этого не дождались, потому что Хель-то капитулировал только первого октября. Поляки там сражались дольше всех под предводительством адмирала, урожденного немца, но поляка до мозга костей по духу своему. Имя этого адмирала – Юзеф Унруг, это был человек чрезвычайно достойный и гордый – человек чести. Он знал от разведчиков, что в «Гранде» квартирует Гитлер со своими генералами, но не пошел на то, чтобы из пушек отел утрамбовать, потому что считал, что это будет не благородно, не по-рыцарски. А ведь если бы он пустил в ход армию, которая у него под командованием была, и исподтишка бы напал – так и «Гранда» бы, может, сегодня не было, но Адольф со своим «двором» тоже мог на небеса отправиться... и все могло бы закончиться вот таким счастливым образом. И мир, может быть, был бы совсем другой. Совершенно другой...

– Вот так наш «Гранд» уцелел один раз, первый, – продолжал он. – Из-за излишнего благородства этого адмирала. А во второй раз спас его тоже генерал, но уже советский – и по другим причинам. По причине водки, как говорят. Когда русские на своих танках вошли в Сопот двадцать третьего марта сорок пятого года, а за танками пришла красная орда, то они уничтожали все, что было в их понятии связано с капитализмом и гитлеровцами. А «Гранд» как раз был напрямую связан и с тем и с другим. Но по счастливой случайности Сопот брали сразу две российские армии – сорок девятая и семидесятая. В Сопоте им нужен был штаб. Два штаба на самом деле. И русский генерал – теперь уж и не вспомню, из которой армии-то, хотя ведь отец когда-то мне в голову все это намертво вбил, – решил, что здание «Гранда» прекрасно подходит для штаба. Так же, как и Гитлер до него. Но, прежде чем объявить об этом своим приказом, он хотел выпить водки. И когда из «Гранда» вышел человек с белым флагом, то генерал его принял и попросил водки. И водка, дорогая, немецкая, не наша самогонка, так ему по вкусу пришлась, что «Гранд» на воздух не взлетел. Вот таким образом «Гранд-отель-Сопот-Казино» по причине хорошего качества

немецкого шнапса – как мне отец рассказывал – стал важнейшим местом для Второго Белорусского фронта Красной армии. Я в этих фронтах не шибко-то разбираюсь, но так дело и было. Этого второго фронта, не важно, как его там на самом деле называли, следы не только в мемуарах и архивах хранятся, но и в самом «Гранде», конкретные – конкретнее некуда. Вот если, барышня, вы со мной в лесочке перед «Грандом» прогуляться пойдете, то я вам покажу следы этого второго фронта. Там в стволы сосен русские вбивали подковы – чтобы коней привязывать. Красная армия имела огромную кавалерию. И в Сопоте к «Гранду», в штаб, они ехали на конях рысью. Больше всего русских подков в стволе первой сосенки, той, что справа от фонтана.

– Слушай, Убожка, какая у этого отеля, оказывается, богатая история! А я ведь ничего этого не знала. Кого еще тут могли из пушки, как ты выражаешься, «утрамбовать»? – воскликнула она с изумлением в голосе и шутливо добавила: – Ну, давай, болтай дальше.

Убожка почесал голову и закурил очередную сигарету, не слезая с подоконника.

– Ну, не то чтобы сразу «утрамбовать», потому как после войны-то времена другие настали. Но покушения вполне могли быть, ну и отравить кого тоже возможность была. Потому что тут и Фидель Кастро своими сигарами дымил, и де Голль тут ночевал, а в последний раз на годовщину войны со всем своим центральным комитетом и свитой приезжал. Да я сам помню, потому что по поводу приезда Путина тогда весь пляж оцепили и на четыре оборота все замки закрыли. И где Путин жил – я точно знаю, мне Любовь говорила, что сто процентов не там, где жил де Голль. Де Голль – в 226-м, а для «великого» Путина сделали один «великий» номер из трех: 222, 223 и 224-го. Так мне Любовь сказала, а она никогда не врет. Суматоха тут с этим Путиным была большая. Это было в две тысячи девятом году – когда семьдесят лет с сентября тридцать девятого отмечали. Даже погода была такая же чудесная, как тогда. Путин приехал, чтобы на Вестерплатте говорить о начале и окончании войны, но ни слова о том, что они нам своим пактом Молотова – Риббентропа буквально гвозди в руки вбили – ни словечка о том он из своих золотых уст не проронил. Как будто этого, о чем все знают, и не было вовсе. И никаких извинений, никакого раскаяния. В отеле похозяничал на славу, хотя и не в тех комнатах, где де Голль обитал. Во-первых, для него три номера переделали специально в кухню, потому что он только своим поварам доверял. Люба мне рассказывала, что восемь видов черного хлеба ему на завтрак подавали, потому что он якобы



сильно черный хлеб любит. Специальную постель ему купили и постельное белье, чтобы аллергии не случилось. А для «Гранда» это получился большой расход, потому как потом и эту постель, и белье, на котором Путин спал, русские с собой забрали, чтобы, значит, следов его пота, ногтей, жидкости или слюны не оставалось, которые можно было бы как-то генетически использовать. А номер де Голля в отеле самый дорогой, ведь у поляков «Гранд» купила французская фирма, так уж они о своем президенте как следует позаботились. Он на том же самом этаже, что и мы сейчас, под номером 226 начинается и продолжается на три комнаты. Единственная комната, где корпоранты оставили маленький кусочек старого доброго «Гранда» времен коммуны. Если Любу попросить – может, она откроет да покажет. Там...

– Кто такая эта Люба? – перебила она его с любопытством.

– Как это кто? Ну... Люба просто. Та русская уборщица, которая по поводу полотенец в дверь стучала.

– Ага. Но она говорила не как русская. Я никакого акцента не услышала совсем.

– Потому что Люба – она немножко как бы наша. Хотя и сибирячка, из деревни откуда-то из-под Красноярска. Мать у нее чисто русская, а отец вроде бы наш, поляк. Поэтому она так хорошо по-польски говорит. Она умная как холера – на всех языках болтает свободно, как мне в свое время по секрету рассказала Люся Мечутка, что на кухне в «Гранде» работает. Люба-то высшее университетское образование имеет. Только в России никакой достойной работы не нашла и приехала на запад убираться. Уже больше трех лет она здесь. У нее доброе сердце: когда зимой худющий одноглазый кот к отелю приковылял – она ему по утрам еду выносила в сад. Ну и мне иногда тоже приносила, когда нужно было. Она очень на мою Юльчу похожа. А глаза – как будто под копирку рисовали. Такие же огромные и почти такие же грустные. У Юльки только иногда бывали более грустные. Я думаю, что Любви очень подходит ее имя – вот прямо она «любовь» и есть. Грустная она от одиночества и тоски. Потому как три года она уже здесь – и всегда одна. А ведь она уже не такая молодая. Уж ей хорошо за тридцать. Красивая она женщина, и кавалеров могла бы менять как перчатки. А она, насколько я знаю, только с Патриком из спа встречается. Но не часто. Парень-то неплохой, только вот в ушах у него сережки болтаются и одевается он как-то по-бабски, ногти красит и волосы у него всегда от геля блестят. С таким женщине трудно серьезные отношения строить. Потому что ему самому, наверно, больше мужчинки нравятся. Наверно, поэтому Любовь его к себе и

подпускает близко. Потому как безопасно. Она там, под Красноярском, наверно, оставила кого-то очень важного для себя и никому больше не хочет давать надежды.

Послышался тихий стук в дверь.

Убожка поспешно соскочил с подоконника, загасил сигарету прямо в ладони, разогнал руками дым и побежал с окурком в ванную.

За дверью стояла Люба с льняным мешочком в руках.

– В спа были ножницы, но очень уж тупые, я сбегала к моей парикмахерше – это на другой стороне улицы. Она мне дала те, которые для стрижки лучше всего. И бритву я принесла тоже. И крем для бритья. Вы сможете брить-то бритвой? – спросила она с сомнением в голосе.

– Не знаю. Но я постараюсь. А Убожка точно умеет, поможет мне.

– Ну и хорошо, – тихонько ответила Люба. И, понизив голос еще больше, продолжала: – И еще одно. Я тут купила Убожке кеды. Потому что эти его ботинки... это катастрофа. Даже коты от него шарахаются из-за этих ботинок. Может, вы сможете ему эти кеды подарить как-нибудь так, чтобы он не обиделся? А то он, знаете, такой гордый... подарите? Пожалуйста. И не говорите ему, что это от меня.

Юстина посмотрела на нее внимательно.

Огромные, чуть раскосые карие глаза, россыпи ярких веснушек на маленьком, курносом носу, загорелая кожа на худеньком лице и декольте, свои, некрашенные, волосы цвета красного дерева зачесаны кверху и заколоты в пучок, непропорционально большая для хрупкой фигуры грудь сильно натягивает белую блузку под синим жакетом.

Юстина взяла ее за руку и потянула за собой в коридор.

– Конечно, не скажу, не волнуйтесь. Ботинки у него и правда отвратительные, – сказала она, пряча кеды в карманы халата. – А вы могли бы показать мне номер де Голля? Убожка рассказывал, что там все так, как было когда-то. Если это возможно...

Горничная быстро оглянулась по сторонам, сунула руку в карман пиджака и быстренько просмотрела стопку пластиковых карточек, стянутых резинкой для волос.

– Есть! – она вытащила одну из карточек. – Но только надо побыстрее, а то он на сегодня зарезервирован. Сейчас-то он еще должен быть свободен.

– Только вы не ждите, пани, что там прямо музей, – с улыбкой добавила она. – Вы не хотите одеться? Или прямо так – в халате? – уточнила она. – Тут недалеко, сбоку, на этом же этаже.

Они прошли по коридору, минуя череду дверей. Номер 226 был ближе к лестнице. Но ни на двери, ни на стене рядом не было никакой информации о том, что эти апартаменты являются в некотором смысле исключительными. И внутри тоже ничего особенного не оказалось, если не считать огромной постели, довольно неудачно стилизованной под эпоху Людовика Четырнадцатого, тисненых барочных обоев на стенах и настоящего чуда – очаровательного туалетного столика с овальной стеклянной столешницей на резных или, скорее, искусно кованых ножках и с очень красивым тройным зеркалом, от старости пошедшим бронзовыми пятнами. И ковер был слишком пестрый. Как в русском средней руки ресторане для средней руки нуворишей.

– Ну, наш-то номер, который «гитлеровский», гораздо симпатичнее, – Юстина подмигнула горничной. – И кажется, более светлый. И к тому же больше по размеру. Вам не кажется?

– Нет, это иллюзия такая. Это все из-за огромной кровати. У нас такой здоровой в отеле больше нет. Поэтому новобрачные особенно охотно бронируют именно этот номер. Некоторые пары даже приезжают специально, даже издалека, чтобы свою брачную ночь провести именно в этом номере. А ведь эта кровать вот именно только что здоровая – она при этом ужасно неудобная, спать на ней – мука одна, – ответила та. – А уж для занятий любовью она и вовсе не подходит, – добавила она тихонько.

Они еще немного поговорили. Об Убожке и его гордости, о работе горничной в отеле – сама она называла себя «уборщицей». О том, принимает ли эта парикмахерша «напротив» клиентов без предварительной записи, о пляже, на котором нет обычной сопотской толпы отдыхающих... Люба ни разу не обмолвилась о том, что она русская. Говорила она практически без акцента, только иногда употребляла русские слова, но тут же поправлялась. И все же речь ее была слегка искусственной, стороннему человеку она могла показаться слишком напыщенной, слишком правильной и красивой, что иногда совершенно не соответствовало теме разговора и уж, конечно, никак не сочеталось с теми функциями, которые Люба выполняла в отеле. Как будто она хотела как-то подчеркнуть свою эрудированность богатством своего словаря. Мало кто в Польше, независимо от уровня образования, произнес бы, например, фразу: «Как бы то ни было, не стоит принимать поспешных решений», комментируя выбор ножниц для стрижки. Если бы Юстина не знала, что у горничной имеется высшее образование и что польский язык ей не родной, она могла бы заподозрить ее в склонности к инфантильной высокопарности. И Любовь не была бы в этом одинока – Юстине неоднократно приходилось сталкиваться с этим явлением, когда она брала интервью у иностранцев, которые хотели или должны были по разным причинам учить польский язык. Часто потом, записывая их рассказы и ответы, она вынуждена была их упрощать и сокращать, чтобы они не звучали для поляков слишком мудреными и выглядели бы более естественно, потому что иначе никто бы не поверил, что какой-то иностранец может так красиво и правильно говорить по-польски.

\* \* \*

Через несколько минут она снова стояла перед дверью номера 223. Не найдя пластиковой карты-ключа ни в карманах халата, ни во внутренностях новых кед для Убожки, она начала стучать в дверь. Сначала тихонько, потом громче, открытой ладонью, а потом совсем громко, кулаком. В конце концов она начала колотить в дверь ногой.

Убожка не открывал.

Устав, она села на пол. Она была уверена, что он забаррикадировался в ванной и, испуганный, как вор, попавшийся с поличным, ожидает самого худшего. Она уже собиралась встать, пойти на ресепшен и попросить новый ключ, когда вдруг

на уровне ее глаз возникли полинявшие, вытертые на коленях голубые джинсы. Подняв голову, она наткнулась на изучающий, вопросительный взгляд какого-то мужчины. Очки в серебристой тонкой оправе у него сползли на нос, длинные седые волосы зачесаны назад. Из-под черного вельветового пиджака выглядывала льняная серая рубашка без воротника, а на шее была колоратка. Мужчина был высокий и худой. В руке он держал черную папку, из которой слегка торчали бумаги. Он молча смотрел на нее некоторое время, потом на мгновение прикрыл глаза и вздохнул.

Она поспешно натянула полы халата на обнаженные бедра и колени и вспомнила, что на ней нет белья – после ванны накинула только махровый халат и завязала поясок.

От стыда она вспыхнула.

– Вы плохо себя чувствуете? Я могу как-то вам помочь? – спросил он по-английски.

Она отчетливо услышала немецкий акцент.

Когда она сделала попытку встать, он протянул ей руку, но когда она, поднимаясь, случайно до него дотронулась, немедленно отдернул руку.

– Все в порядке. Я просто забыла ключ от номера в комнате. Потому что, вы знаете, теперь же нужно вставлять эти карточки в отверстия, чтобы свет загорелся в номере. Впрочем, это все пустяки. Я сейчас попрошу на ресепшен мне помочь, – ответила она по-немецки. – Большое вам спасибо за... за заботу, – добавила она, глядя ему в глаза.

– Ну, это же так естественно, – сказал он. – Уважаемая пани говорит по-немецки... Я не знал, что мой английский настолько несовершенен, – он улыбнулся. – Я могу сообщить на ресепшен о вашей проблеме, если вдруг вам не хочется спускаться вниз в таком... в таком состоянии.

– Я два семестра училась в Гейдельберге. И кроме того, это, возможно, прозвучит странно, но мне действительно очень нравится немецкий язык.

– Это действительно странно, – засмеялся он. – Особенно странно услышать это здесь, в Польше, где немецкий не особо в почете. Впрочем, конечно, нам далеко в этом смысле до русского... Так я сообщу на ресепшен, – закончил он, слегка кланяясь. – Скажу им, что это срочно.

Она смотрела ему вслед, пока он шел по коридору в сторону лестницы. Он был такой загорелый, пах каким-то незнакомым ей парфюмом, на ногах у него были мягкие кожаные мокасины. И этот воротничок на шее! Он ее заинтриговал и поразил. Он так выделялся на фоне остальных, так диссонировал с ними! Ей хотелось побежать за ним и просто спросить. Но... о чем? «Почему вы священник?» Или «почему вы священник и носите потертые джинсы?» Она жалела, что не пошла вместе с ним – по дороге можно было с ним поговорить.

Через несколько минут появился портье, тот самый «умник», различающий «полоски» и «чипы». Молча он вставил в щель карточку с «чипом» и уставился на Юстину – по крайней мере ей так показалось – как на падшую женщину: без багажа, полуголая, в коридоре перед дверью гостиничного номера...

Она вошла внутрь.

Все окна были распахнуты настежь. Ваза с цветами, опрокинутая сквозняком, лежала, разбитая, на столе – на ковер капала вода.

Она подошла к двери ванной, поскребла ногтями по двери.

– Убожка, слушай, и так все узнают, что ты куришь. Запах не выветрится. А так, мало того что ваза разбилась, так еще и розы пропадут. Чего ты боишься? Я тебе уже говорила, что это временно и твой дом тоже. Давай, вылезай оттуда немедленно! – раздраженно крикнула она. – Ты становишься смешным...

Она постояла, приложив ухо к двери. Из ванной не доносилось ни звука. Она вернулась в комнату, закрыла окна и осторожно стала собирать с пола осколки разбитой вазы.

Зазвонил телефон. Поднимаясь, она оперлась на правое колено и почувствовала острую боль – один из осколков впился в кожу и порезал ее. Она намочила палец

слюной и им собрала струйку крови. Торопливо подошла к телефону:

– Я позволил себе побеспокоить вас и позвонить, чтобы убедиться, что дверь открыли.

Она узнала голос мужчины в колоратке. Он говорил по-немецки. Где-то вдалеке в трубке слышалась сирена «скорой помощи» и шум проезжающих машин.

– Открыли. Еще раз благодарю вас за помощь. Будет не слишком невежливо, если я спрошу, как вас зовут?

– Ну почему же. Вы себя хорошо чувствуете? У вас какой-то странный голос.

– Так как вас зовут? – повторила она свой вопрос, игнорируя его слова.

– Меня зовут Максимилиан фон Древнитц, – ответил он после паузы. В голосе его она услышала беспокойство и смущение. – Что ж, не смею больше отнимать у вас время. До свидания, – добавил он и отключился.

Она постояла, не двигаясь с места и держа трубку у уха. Эта несовременная заботливость ее поразила. И смутила. Ей почему-то не верилось, что его беспокоит только то, попала ли она в свою комнату в этом шикарном отеле. Слишком хорошо она знала мужчин, чтобы верить в их бескорыстие и незаинтересованность. Мужская забота о женщине всегда имеет какую-то цель. Иногда – благородную, но всегда – эгоистичную. Они проявляют заботу для того, чтобы заявить о себе, оставить след, задержаться в памяти, сблизиться, а может быть – и очаровать женщину. Колоратка на шее, как ей казалось, мало что меняет. Даже в колоратке мужчина остается мужчиной. Женская забота – совсем другое дело. Женщина заботится искренне, без мысли о том, что она за это потом получит. Мужчины обязательно должны кому-нибудь тут же о своем благородном поступке рассказать – без этого поступок как будто теряет свое значение. Женщины же обычно делают все тихо.

Она улыбнулась про себя. Мужская забота Максимилиана фон Древнитца доставила ей радость.

Вытерев кровь с трубки бумажной салфеткой, она собрала розы и подошла с ними к двери ванной.

– Слушай, Мариан, а как розы называются по-латыни? Ну как на латыни будет «белая роза»? – крикнула она и приложила ухо к двери.

– Rosa alba, – ответил он еле слышно.

– Открой мне? Пожалуйста!

Послышался звук отпираемого замка.

Убожка возник на пороге ванной, глядя на Юстину виноватым взглядом.

– Мне здесь неуютно. Нехорошо, – заговорил он прерывающимся голосом. – Это не только из-за курения. Я не из-за курения боюсь. Просто вокруг слишком много роскоши. Я этой роскоши боюсь. Я же уже много лет как бездомный. И все меня тут знают. И презирают меня, потому что я бедный. А в таких отелях бедных не любят. Когда в дверь стучали – я испугался, что меня сейчас скрутят и отправят в полицию. А оттуда – в вырезвитель. Потому что я ведь с самого утра вино пил и свои промилле уже получил, печень-то уж не та. В полиции всегда врача вызывают, чтобы кровь у меня взять. И так как они в ней ничего не находят лишнего, то я просто расписываюсь у них там в какой-то тетрадке, они потом высылают какие-то рапорты куда-то, а меня выпускают на волю. Для меня в участке уже целая собственная тетрадка есть. За анализы и исследования надо платить. Даже если во мне ни грамма водки не найдут. Я плачу, и когда трезвый плачу, и когда пьяный – тоже плачу. И вот где здесь справедливость, а, Юстинка, вот где? Где она, демократия-то? Ну вот сама посуди – где она? А стоит это, между прочим, совсем недешево, потом этот врач какой-то особенный, постоянный и должен на вызовы с собой привозить специальные все причиндалы. И я должен платить и за свою кровь, и за его бензин. Но я не плачу, потому что у меня денег-то нет. И адреса нет, куда можно счет прислать. Поэтому в участке любят, когда у меня в крови есть алкоголь. И не важно, сколько. При моей угробленной жизнью печени у меня промилле всегда высокий, даже если я просто яблоко съем. А раз есть промилле этот – значит, можно меня быстренько в вырезвитель сплавить – и пускай тогда те, в вырезвители которые, насчет моих счетов переживают, а не полиция. Вырезвитель-то на бюджете, милиция, прошу прощения, полиция тоже на бюджете, а как речь



заходит о счетах, так ведут себя и грызутся хуже, чем девки бордельные. И где же тут человечности-то место-то найдется, если все только о деньгах думают?

А в вырезвители-то куда хуже, чем в участке. В участке я гражданин, а в вырезвители – пьяное быдло, и можно меня ледяной водой поливать, чтобы я протрезвел, если захочется. А у меня от холодной воды кашель и легкие болят. Особенно когда по ночам на улице холодно. Вот поэтому я и закрылся в ванной со страху, потому что промилле мои до вечера теперь не выйдут из меня, а в вырезвители я сегодня после всех волнений и впечатлений, по правде говоря, совсем не хотел.

Она смотрела, как он нервно чешет голень, как перебирает ногами, вздыхает и ищет что-то в карманах. Обняв, она ласково погладила его по волосам.

– Ты меня простишь? – спросил он.

– Слушай, Убожка, у меня для тебя новые ботинки, – произнесла она, стараясь скрыть свое волнение. – Лето же наступило, нужно носить летнюю обувь. А эти твои зимние ботинки закопай на пляже. Прямо вот там, на том месте, где ты сегодня меня нашел. И выпьем за это.

Она видела, что Мариан хочет что-то сказать, но не дала ему этой возможности. Она широко распахнула дверь ванной:

– А еще я бы хотела, чтобы ты на полчаса вернулся в ванную. Мы с тобой там закроемся, и никто нам не помешает. Ты согласен?

– Я? Один на один с барышней... то есть с вами, Юстинка, в ванной?!

– А ты что, никогда с женщиной в ванной не был? Да ни в жизнь не поверю! – крикнула она.

Убожка нервно схватился за нос. Потом опустил голову и начал шарить по карманам в поисках сигарет.

– Нет, не был. Мы с женой жили в деревне под Сопотом. И ванны у нас не было. Удобства все были на улице. В маленьком сарайчике, сбитом из гнилых досок,

около хлева и курятника и собачьей будки. Мою Зосеньку поэтому всегда очень тянуло в новые блочные дома. Особенно зимой. Я ей обещал, что когда-нибудь на Рождество мы поставим елочку в доме с ванной. Где нашу Юлечку можно будет хоть каждый день купать – без этой возни с нагреванием котла с водой на плите в кухне. Да, признаюсь, я ей обещал. Причем совершенно трезвый, а не в каком-то неприглядном виде. Но не получилось... – произнес он, нервно грызя сигарету. – Но это уже давно было, – добавил он и послушно вошел в ванную.

Она посадила его на край ванны, напротив зеркала. Набросила ему на плечи большое купальное полотенце, слабой струей теплой воды из душа смочила голову. Из кармана халата выудила ножницы и начала стричь.

Убожка закрыл глаза и закусил губу. Она собирала падающие клочья и спутанные космы с полотенца и бросала в ванну. В какой-то момент она заметила, что Мариан весь дрожит, что мышцы его шеи напряжены и будто окаменели. Она видела в зеркале, как он морщится, видела его сжатые колени, видела, как он то и дело нервно сжимает кулаки, чтобы через пару секунд снова их разжать.

– Убожка, я что-то не так делаю? – спросила она с тревогой. – Ты не должен бояться. Я часто стригу... то есть стригла своего парня. И он всегда был доволен, – заверила она, откладывая ножницы.

Убожка широко открыл глаза. Он сосредоточенно всматривался в ее отражение в зеркале, потом поднял правую руку и сильно стиснул ее ладонь, заставляя ее пригнуться к своему плечу.

– Зачем, барышня, вы это делаете? Только честно. Зачем? Ведь у бедных нет лица, истории, от них частенько остается только одно, что обращает на себя внимание, – запах. Люди не хотят приближаться ко мне, потому что они не хотят меня нюхать – для нормальных людей я могу только смердеть. Когда я вхожу в магазин, меня уже заранее подозревают, что я что-то хочу украсть. Они не хотят стоять рядом со мной в одной очереди, потому что боятся, что вши с моих волос немедленно перескочат на их головы. На лавочке в парке они садятся на самый кончик, спиной ко мне, как можно дальше, потому что считают, что в моем дыхании содержатся миллионы болезнетворных бактерий, мутировавших от самогона и чеснока. Мне не подадут руки ни при встрече, ни при прощании,

чтобы я не заразил их чесоткой. Они не хотят смотреть мне в глаза, потому что их католическая душа начинает болеть и мучиться угрызениями совести из-за этих библейских бредней, что с бедными надо делиться. Они опускают головы и, чтобы не смотреть мне в глаза, смотрят на мои ботинки. И вспоминают воскресные проповеди своего ксендза. И вдруг начинают хвататься за свои кошельки и портмоне. Но сегодня у большинства поляков деньги лежат в банках, на картах. И поэтому они вынимают несколько мелких монет и кидают в кружку. Русским стыдно мелочь подавать – они всегда вытаскивают бумажные деньги. Правда, это, может быть, потому, что курс рубля по отношению к нашему золотому так себе. Рубли в монетах – это как наши гроши. Так что я свои ботинки, барышня, на пляже хоронить не стану. Мои ботинки – это фирменный логотип Убожки. Но если по существу – обычно люди мною брезгают, а вы, барышня, мне гнойные раны на ноге обмывали, свои дорогие духи на нее прыскали, а сейчас вот до моих волос дотрагиваетесь. Это же ведь очень интимно – дотрагиваться до чужих волос, если ты, конечно, не работаешь в парикмахерской, правда? И вот для чего, зачем вы, барышня, это делаете? Вы, может, из какой благотворительной организации, барышня? Или так, индивидуально, из эмпатии и от доброго сердца? А может быть, это какой-то рафинированный эксперимент и где-то здесь скрытая камера все снимает?

Она помолчала. Потом высвободила руку и снова потянулась за ножницами.

– Ты хочешь быть красивым или нет? – спросила она и рассмеялась в голос.

– Конечно, хочу! – прошептал он, хлопнув ее по бедру.

– Ну тогда не дергайся и не нуди, – заявила она. – А вообще, Убожка, когда вот ты так говоришь, а я тебя слушаю – так я никак не могу понять, кто ты есть: то ли ты пройдоха, каких мало, то ли какой-нибудь профессор университетский. Ты иногда говоришь как какой-нибудь крестьянин от сохи, а иногда – как красноречивый психотерапевт. Эти твои словечки – «нутро», «батюшка», а особенно твоя любимая «барышня» – ну вот никак не сочетаются с «эмпатией» и «рафинированным экспериментом». У тебя, Убожка, степень научная есть? Может, хотя бы по полонистике?

Убожка рассмеялся, а потом начал хрипло кашлять. Она постучала ему кулаком по спине, как если бы он подавился или начал икать.

– Мне нужно чего-нибудь выпить, – еле слышно прохрипел он. – Иначе я сейчас задохнусь, господи Иисусе...

Она, перепуганная, выскочила из ванной, схватила стакан, стоящий у зеркала, наполнила его водой и поспешно поднесла к его губам.

– Лучше бы вина из мини-бара. Там может быть красненькое, – сообщил он спокойно. – Но я бы и белого выпил...

Она схватила его за волосы и начала мотать голову из стороны в сторону.

– Ты гадкий! Мерзкий! Ты же меня до смерти напугал! Злой ты! И вовсе это было не смешно! – кричала она.

Он вырвался от нее, обхватил руками и уткнулся лицом в ее халат. Она стояла неподвижно с поднятыми кверху руками, держа стакан с водой на весу.

– Вы, барышня, слишком хорошая для меня, – прошептал он. – Очень хорошая.

Она высвободилась из его объятий и пошла в комнату. Вернулась с двумя маленькими бутылками вина. Убожка улыбался, довольный собой. Во рту он держал две прикуренные сигареты.

– Продолжаем с тобой нарушать правила, Убожка, – сказала она, вытягивая из его губ одну сигарету. – Одна для меня, да?

Она сунула ему в руку бутылку.

– Надеюсь, нас не поймают эти... ну как ты там их называешь-то! Подожди-ка... а, вспомнила! Корпоранты, – захихикала она.

Она залезла в ванну и встала у него за плечом. Поставила свою бутылку на фарфоровую полочку, уставленную стеклянными флакончиками шампуня, бальзама, геля и мыла. Взяла ножницы. Убожка попивал маленькими глоточками вино и курил, иногда что-то радостно насвистывая себе под нос. То и дело он взглядывал на свое отражение в зеркале, с каждым разом все более удивленно.

– А что касается вопроса барышни про степень, так я честно скажу, что у меня ее нет, – он иронично улыбнулся. – Я иногда выражаюсь витиевато, но не думаю, что для этого степень необходима. Даже по полонистике. Я вообще такое мнение имею, что, если уж на то пошло, эти остепененные полонисты никому не нужны. Если что-то невозможно измерить и описать, то какие там, черт побери, вообще могут быть степени? Впрочем, это я так, к слову.

Для батюшки моего по каким-то непонятным причинам очень большое значение имела речь. Способ выражения. Когда он еще находился в плену у азарта, то даже во время покера употреблял красивые обороты и слова. Может, поэтому его никто не понимал и он всегда проигрывал. И я, видать, эту красноречивость от него унаследовал. У нас в доме она в большом почете была. Отец речи очень большое значение придавал. Мама – гораздо меньше, хотя она вот, кстати говоря, как раз курс полонистики окончила, а значит, всяких красивых слов и фигур речи знала больше. Но мамуля всегда считала, что прикосновение гораздо важнее. Поэтому батюшка со мной главным образом разговоры разговаривал, а мамуля обнимала, гладила и целовала. Но пришло время, наверно, лет девять мне было или десять, когда мне очень хотелось, чтобы отец перестал говорить и вместо этого взял меня на колени и утешил, когда я во дворе получал по мордасам или в живот ногой от больших и более сильных ребят. А отец меня после таких вот мордобитий чаще всего красивыми словами стыдил и только иногда, тоже красиво утешал. Но с колен, когда я, тоскуя по отцовской ласке, пробовал туда все-таки залезть, всегда сгонял и спихивал – как будто какого грязного блохастого дворового пса. Такой уж он был – не выносил слабости в мужчинах. А ко мне с самого начала относился как к мужчине, хотя я-то ведь, как и любой другой, долго был ребенком. Конечно, он меня любил на свой особенный лад, но эта его любовь была такая типично отцовская. Я ее должен был заслужить и не заслуживал, по его мнению. И так до конца его жизни и не заслужил.

А мамуля – совсем другое дело. Она меня любила без всяких условий. У нее мне ничего не надо было заслуживать, и я знал: что бы я ни учудил, какой бы дурной поступок ни совершил, маминой любви никогда не потеряю. Мне теперь, когда я в жизни что-то понимаю, кажется, что любовь к детям тогда самая сильная, когда она знает, что не надо ничего взамен ожидать. И когда я потом полюбил мою Юлечку, то как моя мамуля, всей душой, всем сердцем, безусловно...

Но это уже давно было.

Много времени прошло, пока я понял, что для моего батюшки Романа любовь была тоже своего рода слабостью, пожалуй, даже самой главной слабостью, которая рождает зависимость и отнимает покой. Он же о любви только говорить мог красиво и подробно, а поступком каким доказать ее – это уже нет. Поэтому мамуля всегда такая опечаленная ходила – потому что когда ты кого-то любишь, то рано или поздно начинаешь и от него взаимности ожидать, верно ведь? А иначе тоска человека изнутри съест, как черви корни дерева точат. Потому что ему будет холодно. Даже летом. Потому я себе так мыслю, что человек должен был бы быть Богом, чтобы уметь любить и не думать о том, любят ли его в ответ. Хотя это высокомерное желание любящего, чтобы его тоже любили, с настоящей-то любовью ничего общего на самом деле не имеет, если говорить откровенно.

– А вы, барышня, что на эту тему думаете? – спросил он, ставя пустую бутылку на полочку.

Она на какое-то время даже перестала его стричь, смотрела ему в глаза и внимательно слушала. Когда же он замолчал, ответила:

– Это очень сложный вопрос. Я отвечу как-нибудь. Только дай мне подумать. Потому что я не могу одновременно быть и парикмахером, и философом. Я или проткну тебе висок ножницами, или начну говорить глупости. И к тому же мне от всего этого хочется плакать, – призналась она, закусывая губу.

Она взяла его голову в ладони и стала осторожно поворачивать в разные стороны, внимательно глядя в зеркало. Лицо Убожки теперь стало еще более привлекательным, открытый лоб казался еще выше, глаза еще больше, седина, до этого прятанная в длинных крученых лохмах, была теперь тоже более заметна.

– Убожик, ты ужасно худой. Ты видишь? Заметил? И у тебя шрамы на лбу. Как у меня. И в тех же самых местах. Справа больше, чем слева. Ты, наверно, при ветрянке чесался больше правой рукой. Как и я. Можешь встать у ванны на коленки? Я тебе волосы помою.

– Может, сначала покурим? – спросил он со страхом в голосе и потянулся рукой ко лбу. Подушечками пальцев медленно и старательно, с интересом исследовал

все углубления и ямки на своей коже. Потом закрыл глаза.

- Можно? - снова спросил он, на этот раз чуть громче.

- Нет, нельзя, Убожик. Ты тут и так надымил, как в котельной. Кончится все тем, что сработает пожарная сигнализация и мы наживем себе кучу проблем. Ты же читал, сколько придется заплатить за так называемое «освежить» комнату, если нас вдруг поймут? Я столько не зарабатываю за месяц, а у меня довольно высокая зарплата. Так что покурим после мытья в окошко. Так можно сделать? А сейчас давай-ка вставай на колени. Или ты предпочитаешь раздеться и встать под душ?

- Да вы что, барышня! Я бы даже перед невестой постыдился бы голышом стоять. Так что я уж лучше на карачках.

Он торопливо поднялся, снял вылинявшую дырявую рубашку, аккуратно сложил ее и положил на мраморную плиту рядом с умывальником. Потом осторожно стянул через голову потрепанный темно-коричневый кожаный шнурок и с силой прижал к губам висящий на нем крестик. Показался необычный ярко-красный шрам, который тянулся от середины его живота к спине и заканчивался ровно над почками.

Он опустился на колени перед ванной.

- Никто, кроме мамули, никогда не мыл мне голову. Даже жена не изъявляла желания такого, - произнес он, когда она намыливала ему голову шампунем. - А вы, барышня, видать, чистоту любите? Или что? Потому что мне все это как-то удивительно. Ведь в мытье головы другому человеку столько чувства, что аж слов нет...

- Ты много не болтай пока, Убожка! И глаза закрой...

Она посадила его на край биде и включила фен. Пальцами медленно расчесывала и укладывала ему волосы.

- Тебя, Убожик, теперь не узнаешь, - кивнула она с улыбкой. - Разве что по глазам. У тебя красивые глаза, знаешь? А я больше всего люблю, когда у

мужчины красивые глаза. Даже если у него ботинки будут отвратительные. Пошли покурим, а потом будем бриться. Настоящей бритвой, а не каким-то там одноразовым «жилет-лучше-для-мужчины-нет».

Убожка только взглянул на нее внимательно и ничего не сказал.

Он обернулся полотенцем и завязал его на груди потертым шнурком, который заменял ему ремень. Они встали у окна.

– У Юльчи были мои глаза. Только еще больше. Наверно, поэтому, когда она плакала, то подушка была абсолютно мокрая, хоть выжимай. А все остальное у нее, слава Богу, было от жены. Она красавица была. Очень похожая на нашу Любовь. Только ресницы еще длиннее и еще темнее, – добавил он, глубоко затягиваясь. – Когда я иногда смотрел, как она спит, то...

– Слушай, Убожик, а кто это тебе так живот распахал? – перебила она торопливо, заведя слезы в его глазах. – Ну, это явно работа не доктора. Разворочено все, как будто кто-то резал тебя осколком стекла.

– Я себе почку в водке утопил, ее надо было срочно удалить, чтобы печень и поджелудочную спасти. А этот шрам только летом так жутко выглядит. Солнце-то вообще для кожи не полезно, а для шрамов особенно. Зимой он становится тоненькой полоской и его даже почти не видно. А тот доктор был хороший. Он меня принял в отделении и сразу вырезал почку, без проволочек и околичностей. Не стал меня в долгую очередь записывать. Когда я смотрю на этот шрам – всегда к нему благодарность чувствую. Мне потом в реабилитационном центре рассказывали, что он сам когда-то лечился в АА, поэтому к алкоголикам имел слабость и понимание их проблем.

Вообще там, в этом центре АА, я познакомился с несколькими врачами. Они пьют намного больше, чем, скажем, почтальоны или портные. Потому что ответственность на них давит. Даже на дантистов. Хотя сильнее всего, конечно, на хирургов. Я бы тоже пил, если бы мне с утра до вечера надо было вырезать людям геморрой, фурункулы вскрывать или опухоли мозга удалять.

Она взглянула на него.



Он сидел на подоконнике. Лучи солнца играли у него в волосах. Руку с сигаретой он опустил за окно, голова безвольно опустилась на плечо. Он блаженно улыбался и с нескрываемым удовольствием смотрел на улицу. Первый раз за все время их знакомства она видела его спокойным – без напряжения, без этой постоянной готовности убежать и без этого затаенного страха в глазах.

Она вдруг ощутила острую тоску.

Когда и он, тот, тоже освещенный лучами солнца и полный покоя, сидел вот так на подоконнике и курил. И так же блаженно улыбался. Год, может, два назад. В старой лесной избушке где-то на краю света, где-то в забытом Богом и людьми уголке Тухольских Боров. Тогда тоже было лето. Подоконник был трухлявый, как и весь чердак в той избушке, в которой они планировали провести всего одну ночь по дороге из Варшавы до Свиноустья, а застряли на целую неделю. Она встала перед ним, глядя ему в глаза. Нагая, покрытая бисеринками пота, все еще влажная и все еще неудовлетворенная, с растрепанными волосами и вспухшими, искусанными губами. Выбравшись из скрипучей постели, она поползла к нему, когда он убежал от нее, чтобы, как он выразился, «спокойно покурить после удовольствия». Сначала она массировала ему стопы, а потом они объедались черешнями, срывая их из окна прямо с дерева, и устраивали соревнования, кто дальше плюнет косточкой. И потом, снова в постели, она слизывала сладкий черешневый сок с его губ, подбородка, шеи и живота – липкие, красные струйки. А потом он слизывал сок с ее тела...

\* \* \*

Она вздохнула и глубоко затянулась сигаретой.

– А что касается любви, так я тебе скажу, Убожка, что это одно большое сумасшествие. Помешательство. Ты прав, когда говоришь о нашем требовании, чтобы нас любили в ответ на нашу любовь. Об этой претензии. Это, может быть, даже самое главное требование из всех, что существуют на свете. Это просто огромное вранье, когда кто-то утверждает, что любовь бескорыстна. Такая любовь, как у твоей мамули, такая вот бескорыстность – это только в житиях святых встретить можно. Потому что вообще-то любовь, и не только отцовская, она безусловной не бывает. В ней обычно очень много эгоизма, очень много желания властвовать над кем-то, владеть им безраздельно. Сделать своей собственностью. Это несбыточная и потому больная мечта Сартра – чтобы

любовь не требовала обладания. Когда я анализирую себя – убеждаюсь, что становлюсь гораздо большей эгоисткой, когда люблю, чем когда не люблю. И это вытекает из самого того что ни на есть нормального человеческого страха. Когда я люблю – я до чертиков боюсь, потому что чувствую себя гораздо более незащитной перед потерей и очень ранимой.

И этот парень, что меня вчера в ночи на пляже оставил, одну-одинешеньку и пьяную, на твое, слава Богу, попечение, – он об этом обо всем прекрасно знает. Я ему сама в этом призналась в минуты наибольшей близости и единения – в какую-то из ночей я ему это на ухо прошептала перед сном. Было это тогда, когда моя любовь к нему была безгранична. Я в нем все любила. Даже то, как он мажет хлеб маслом. Да, так и было. И поэтому я так сильно боялась. Потому что думаю, что любовь никогда, наверно, не рождается в одиночку – как единственный ребенок в семье. С ней вместе всегда рождается ее близнец – страх. Но он боялся и боится еще больше, чем я, и, наверно, думает, что, чем больше я буду страдать – тем послушнее стану, и тогда он будет мною обладать еще в большей степени. И тогда он будет бояться меньше. Сраный эгоист! Шантажирует меня своим страхом! Но я ему этого не позволю. Мой страх все равно всегда будет больше.

В каком-то смысле настоящую, искреннюю и красивую любовь можно узнать именно по этому страху. И признаться в этом страхе – значит признаться в любви. Ты так не думаешь, Убожик? Но мало кто так красиво признается в любви – если кто-то вообще так делает. «Я люблю тебя так, что трясусь от страха при мысли, что могу тебя потерять или делить с кем-то еще». Я примеров такого признания не знаю даже в Голливуде. И уж тем более в церкви, которая всегда о любви разглагольствует. И это меня несказанно удивляет, потому что уж в церкви-то я в первую очередь ожидала бы увидеть пропаганду этого страха, тревоги и неуверенности. Ведь и церкви-то самой сегодня не было бы, если бы не еженедельный страх, который церковь в народ несет каждое воскресенье. Церковь этим страхом живет, благодаря ему она свои подносы наполняет. Но вот о любви как о страхе потери с амвона почему-то не услышишь. В церкви о любви говорят обычно как о недостижимой для человека благодати и лишь иногда – как об эросе. И только единицы понимают, что прекрасный Эрос – это нечто гораздо большее, чем просто животное либидо. Нечто гораздо, гораздо большее. А большинство очень глупо путают эрос с либидо. А ведь это все равно что назвать, например, «Гранд-отель-Сопот» «местом, где можно переночевать в Сопоте». Вроде бы и правда – но коннотация сильно изменена. Разве нет?!

И еще... вот это пугающее соединение любви со страхом: «Люблю тебя и поэтому постоянно боюсь». Получается, что страх плечом к плечу с любовью в одном направлении шагает? Какой-то парадокс, если говорить о той любви, которой дарит нас всемогущий и бесконечно добрый Бог, разве нет? Любовь как разновидность клинического невроза, вызванного страхом? Очень похоже! И к сожалению, часто так и бывает... А он, тот мой, хотя, может быть, уже и не совсем мой, мужчина, который меня на произвол судьбы бросил, любил меня вообще какой-то странной любовью – как будто в этой любви был только страх. Как какой-то приговоренный к смерти узник, который вот только перед казнью вдруг неожиданно полюбил жизнь. В последнее время у меня было впечатление, что я для него палач, который исполняет ежедневно смертный приговор. Он страдал от малейшего моего успеха, от каждой подписанной моим именем статьи в газете, от каждой передачи на радио, от каждого положительного отзыва на мои тексты, даже от лайков на фейсбуке, от любого, даже самого невинного, мужского комплимента под моими фотографиями, от каждой телевизионной программы, во время которой на мне была, по его мнению, слишком короткая юбка, или слишком большое декольте, или слишком обтягивающее платье. Его как будто напрягал мой успех. Он его удручал, заставлял ревновать, с ума сходить от зависти ко всем. Я думаю, он боялся, что станет очевидна его ничтожность в сравнении с остальными. Дошло до того, что он плакал и кричал во сне. Я для него была...

– Вы, барышня, его провоцировали, – перебил ее Убожка, не дав ей закончить предложение. – Это значит, что он был открыт. Хуже всего, когда люди замыкаются, закрываются и ни за какие коврижки не получается к ним через эту скорлупу пробиться. Так мне как-то объяснил по-научному психолог один со многими званиями в центре, тот, что попал в АА тоже, только не как врач, а как пациент. Наверно, он уж совсем на краю находился, совсем боялся деградировать и с ума прыгнуть, если по собственной воле отдал себя в руки других психологов. Случай очень любопытный в своем роде. Псих и психолог в одном флаконе. Когда он пил, он был великолепным психологом, а когда не пил – становился обычным психом. Я к нему обращался, когда он пил. Он говорил тогда очень важные и неизбитые вещи. Он тоже страдал от того, что его женщина переросла. Однажды она даже приехала в клинику на огромном немецком автомобиле, чтобы посмотреть, за что она отстегивает четырнадцать тысяч с лишним в месяц, оплачивая «каникулы своего парня». Она и правда была на голову выше его. И к тому же здоровенная – втроем не обхватить. Но дело было не в росте и не в габаритах. Она его в другом смысле переросла. И это было очень видно, когда она там, в центре, гладила его своими толстыми лапами по голове. Он лежал на лавке у входа в клинику, положив голову на ее

огромные, мощные, как греческие колонны, колени. И это видели все алкоголики на прогулке. Она гладила его не так, как женщина гладит любимого мужчину. Она его гладила так, будто она была медведица, а он был ее плюшевым зайчиком. А наш психолог, поскольку был трезвым как стеклышко, до боли позволял себя так гладить и постепенно превращался в психа, одурманенного какими-то препаратами. И даже если его член в этот момент набухал и увеличивался – хотя бы по причине долгого воздержания, то в голове, я думаю, у него, как у любого нормального парня, все сжималось. Потому что никто не хочет быть плюшевым зайчиком, которого гладит медведица с огромными когтями, даже если эти когти только что отполированы в самом дорогом маникюрном салоне. Вы себя, барышня, с этим никак не отождествляете? Прошу прощения за неожиданный вопрос, – добавил он, искоса взглянув на нее.

Она отошла от окна и села на кровать. Сбросила обувь, залезла под одеяло и закуталась в него поплотнее.

– Мне что-то холодно стало, знаешь. Ужасно холодно, – сказала она, поправляя подушку под головой.

Убожка сполз с подоконника. Присел на край ее кровати. Она лежала, обхватив себя руками. Он помолчал, а потом сунул руку под одеяло и начал массировать ей стопы.

– Когда у нас Юльча мерзла, я всегда ей ножки разминал, чтобы согреть, – прошептал он, наклоняясь к самому ее уху.

– Ты думаешь, Убожка, он и правда может так думать? Я-то себя с таким не отождествляю, о чем ты говоришь, но мне просто любопытно.

– Вы, барышня, кого сейчас имеете в виду? Зайчика из моего центра или жениха?

– Он никогда не был моим женихом. По крайней мере я об этом ничего не знаю. Когда он меня с кем-нибудь знакомил – то всегда представлял очень официально, по имени и фамилии. Как какую-нибудь однокашницу или знакомую с работы, одну из многих. Сначала мне было от этого больно, потом стало раздражать, а потом я привыкла. В последнее время он вообще перебарщивал – с насмешкой добавлял к моему имени и фамилии «та самая знаменитая

журналистка из Варшавы». А ведь каждой женщине важно, чтобы ее представили как женщину того мужчины, которому она принадлежит. А я принадлежала ему. Никому до этого не принадлежала так целиком, как ему. И не только телом. А прежде всего – разумом. Мыслями. Если я не думала о работе – значит, думала о нем. Что он сейчас делает, как он себя чувствует, грустно ему или радостно, ел ли он сегодня горячее, что читает, что слушает, не пьет ли он слишком много вина, о чем он думает проснувшись, здоров ли, поливает ли цветы, отрегулировал ли он тормоза в своей машине. Вот такие обычные бабские мысли влюбленной женщины. Я делила свое время только между ним, работой и сном.

Конец ознакомительного фрагмента.

----

Купить: <https://telnovel.com/yanush-vishnevskiy/grand-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)